
СОЧИНЕНИЯ ДЕРЖАВИНА

4 тома. СПб. 1831 года, в т. А. Смирдина, in 8, VIII,
342, 362, 230

и 308 стр., с портретом и виньетами.

Начиная чтение свое об Альфиери, Е. Легуве (один из новых литераторов французских, достойный других юных сподвижников) так говорил слушателям курса его в парижском Атенее:

«Какое наслаждение: взять человека, подобного Альфиери, Байрону, Дидеро, запереться с этим человеком на несколько времени, перечитать все, что осталось от него, — записки, письма, сочинения, сообразить одни с другими все сии памятники его жизни и воссоздать из них для себя живое создание! Первые дни такого занятия тягостны, раздражают вас: ошибаетесь, возвращаетесь на прежнее, почитаете прихоть характеристическою чертою; но мало-помалу великий человек, изучаемый вами, обозначается перед вами в совершенной точности; образ его дополняется, очерки души останавливаются, и наконец нравственный исполин, угасший навсегда гений воссоздается, делается современником души вашей; у вас стало одним другом более. Так несколько времени старался я себя *обальфиерить*, и мне кажется, что я знаю теперь этого великого человека, как будто бы он сам высказал мне свою душу, свою мысль, свой гений. Страшусь только, что образ его, столь живо впечатленный в уме моем, я не буду уметь передать вам. Слова изменят мне, без сомнения, в усилии моем: на нескольких страницах сжать все характеристические черты гения, столь фантастического, столь прихотливого, столь

независимого! Не критику его творений, но образ его самого и в разборе его созданий человека хотелось бы мне показать вам вполне»¹.

Мы выписали слова Легуве, ибо они совершенно выражают то, что мы сделали с Державиным, приготавливаясь говорить об нем нашим читателям по случаю нового издания его творений.

К прискорбию нашему, мы не имели счастья видеть в живых этого великого человека... Безотчетно удивлялись мы созданиям его в то время, когда, *шестнадцать лет* тому, угас великий! Может быть, теперь, в беседе его, смотря на него, ища в лице его таинственных следов его гения, мы могли бы дополнить наш очерк. Но, может быть, это и особенная выгода наша для суждения о Державине. На дряхлом челе старца, в чертах, проложенных

136

летами и суетою мира среди божественных черт, доставшихся ему от настоящей его родины — неба, потерялся бы может быть, для нас восторг, какой движет душу теперь, когда мы воссоздаем себе образ поэта из его творений, никогда не видавши его самого. Он успел совершить полный круг жизни; он весь высказался нам... Более достойно сожаления, что доныне известны нам не все подробности его жизни, политической и частной. При новом издании сочинений Державина нет ни записок, которые хранятся у его родных (см. «Предисловие», стр. VII)², ни примечаний, ни пояснений. Некоторые сочинения Державина «потому ли, что писаны в прозе,

или по иным причинам» (*ibid.*, стр VII) также и теперь остались нам неизвестными. Не знаем этих «иных причин», но жалеем, что с Державиным поступают столь небрежно, что об нем все еще думают, как будто о чиновнике, о Превосходительном современнике... Как бы то ни было, нам остается довольствоваться тем, что есть, что издано, краткими жизнеописаниями и особенно книжкою, за которую нельзя не поблагодарить г-на Остолопова («Ключ к сочинениям Державина». СПб. 1822 г.)^{*}.

Уже время говорить о Державине. Мы не можем быть довольны безотчетною похвалою, которую передали нам современники, похвалою косноязычною, которая славилась в нем только *певца Фелицы*, любовалась догматизмом его оды «Бог», величала Державина *Вашим Превосходительством* и говорила с удивлением о том, как Екатерина жаловала Державина за его стихи. Не можем мы быть довольны и возгласами «тонкого ценителя творений Державина» («Предисловие», стр. VII), который на один лад говорил похвалы Державину, Озерову, Дмитриеву, как будто они все трое были одинаковы. С другой стороны, мелкое самолюбие нашего времени, дерзкое более самого невежества, уже осмеливается равнодушно говорить о Державине; краденый восторг (и не восторг, а какое-то ложное поэтическое упоение) современного стихотворства дерзают иногда ставить наряду с могущим вдохновением потомка Багримова³; не зная различия эпох, направлений, образований духа человеческого, хотят судить Державина по уложению английского, греческого, немецкого суда. Не беспрестанно

^{*} Это собственные замечания Державина; посему, выписывая их в статье нашей, мы везде ставили их прямо от лица Державина.

ли также в печатных курсах, лекциях, книгах видим мы имя Державина как поэта наряду с Ломоносовым и в истории литературы едва отличное, наравне с другими, после кондуитного списка его службы и библиографической росписи его сочинений?

Не дерзаем сказать, что мы успеем вполне *оценить* Державина; по крайней мере мы постараемся изобразить его *как человека и как поэта*, уединимся в его творения, стряхнем с них все тленное, все вещественное и преклоним колена только пред тем таинственным алтарем, где вечным огнем горит бессмертный гений Державина, сквозь туман слабостей и страстей века его и — он был *человек* — сквозь мрак его собственных страстей и слабостей. Для сего надобно нам предварительно изобразить жизнь Державина, разобрать характер его как русского чиновника XVIII века и как гражданина всех веков, взглянуть на век его и, наконец, рассмотреть самые его творения.

Около *девяти* лет тому, 1743 года июля 3 дня, в Казани, у небогатого офицера Романа *Державина* родился сын, и его назвали *Гаврилом*. Отец беспрестанно находился в службе. Семейство Державина постоянно оставалось в Казани, где была у него небольшая деревня. Мальчик оказывался весьма умный и острый. Лет пяти он уже бойко читал и бегло писал. Вскоре повезли его в Оренбург и представили как недоросля на смотр старику Неплюеву. Как дворянина, надобно было его после сего

воспитывать. Но чем и где? Какой-то ссыльный немец, Осип Розе, завел в Оренбурге школу, и дворяне тамошние отдавали ему детей. Отдали и Державина. Но Розе сам ничего не знал, заставлял учеников только читать, писать, твердить вокабулы. Державин делал все это, выучился кое-как по-немецки, по-французски, а больше читал русские книги и списывал суздальские картинки, страстно любя рисованье. Девять лет было Державину, когда отец его вышел в отставку полковником и решился отвести детей (их было двое у него: наш поэт и еще другой сын, умерший в 1770 году) в Кадетский корпус. Ему хотелось сделать их артиллеристами или инженерами. Но Елисавета и с нею все *милостивцы* его были тогда в Москве. Поездку отложили до нового года, а в ноябре полковник Державин умер. Соседи начали терзать, разорять бедную вдову тяжбами. Для умилоствления возила она к судьям и благодетелям детей своих, плакала, просила. «С тех пор, — говорил Державин в старости, —

врезалось в сердце мое ужаснейшее отвращение от людей неправосудных и притеснителей сирот». Между тем школьник Лебедев и отставной прапорщик Полетаев на медные деньги учили Державина арифметике и геометрии. Мать уделяла для сего последние крохи. Державин чертил планы, слагал, вычитал, рисовал, играл на скрипке самоучкою и с жадностью читал оды Ломоносова, трагедии Сумарокова, перевод «Телемака», «Аргениду», «Маркиза Глаголя»⁴, выпрашивая книги у

кого мог, был остер, ловок, умен, горяч и вскоре осмелился сам *писать*. Любопытно послушать рассказ Державина о начале его писанья, когда уже поступил он в гимназию, учрежденную в 1758 году, в Казани. За год до того мать его, с помощью добрых родственников, съездила в Петербург, записала детей своих в Герольдию и взяла назад в Казань, *для окончания наук*. «Но познания в гимназии приобретали мы малые; я отличался острою и воображением, и в сие время стала открываться во мне способность к стихотворству от чтения книг. Сколь ни тесен был путь, по которому склонность устремляла меня, молодого стихотворца, без всякого руководителя, однако ж начал я денно и ночью трудиться в составлении стихов и в сочинении романов и сказок, в подражание читанным мною образцам. Но как все сие писано было без наставника, без правил, то и было все то одно смешное маранье, которого молодой сочинитель никому, даже товарищам своим, не показывал, а все раздирал и предавал огню; некоторые только маленькие стишки были известны друзьям моим, со мною воспитывавшимся». Директором казанской гимназии был тогда весельчак и остряк Веревкин, Ривароль своего времени, неумолимый переводчик и сочинитель комедии «Так и должно». Он бранил Державина, называл *тупицею*, но думал, что из него выйдет *хороший математик*, повез его геометрическое черчение в Петербург, показал там Шувалову и, возвратясь в Казань, поздравил Державина с запискою кондуктором в инженерную службу. Державин обрадовался, надел мундир инженерного корпуса и вдруг, совсем неожиданно, получил ордер и паспорт из лейб-гвардейской канцелярии Преображенского полка: Шувалов сделал ему *милость*, по рекомендации

Веревкина и за хорошее черчение геометрических фигур определил его в гвардию. В марте 1792 года Державин явился в Петербурге. Любопытно, он стоял на часах во дворце в самый день восшествия

139

Екатерины II, июня 28 дня 1762 года. Думал ли кто из людей, тогда столь великих и знаменитых, что 20-летний солдат, отдающий им честь ружьем, будет бардом века Екатерины и переживет их в веках! Екатерина начала царствовать, а будущий бард ее смиренно возвратился в свои казармы; может быть, написал ей *оду* и спрятал в свой ящик как негодное мارانье. «Вступая в действительную службу, жил я в казарме, между многими женатыми и холостыми. По тесноте, неудобно было мне заниматься ни рисованием, ни музыкою. Оставив сии искусства, занимался я беспрестанно, когда другие спали, чтением книг, кои в Петербурге удобнее было достать, также писаньем для разных людей писем, а иногда стихов на разные случаи, единственно для себя. Правила поэзии почерпал я из сочинений Тредьяковского, а в выражениях и слоге старался подражать Ломоносову, но, не имея подобного его таланта, в том не успевал». Во время коронации Екатерины (в сентябре 1762 года), в Москве, Державин, пришедший туда с другими гвардейцами, узнал, что Шувалов едет в чужие края. Он явился к Шувалову и просил взять его с собою. Шувалов расспросил молодого солдата и согласился. Но родня Державина не хотела потакать шалостям. «Служить, брат, служить надобно, — говорили ему, — а не шататься по

чужим землям!» Державин с горем согласился на благоразумный совет; Шувалов уехал без него, а Державин, как будто в утешение, пожалован капралом и продолжал жить в своей петербургской казарме, читал, писал, накопил кучу писанных бумаг и в 1770 году сжег ее всю без сожаления. Он ехал тогда из Москвы; близ Петербурга остановили его, и как в Москве была тогда чума, то надобно было окурить «превеликую кипу бумаг», которою набит был сундук молодого капрала («другого имени со мною почти не было»). «По пылкости моего характера, соскучившись ждать окурения и пересмотра, я сжег свои бумаги и тотчас был пропущен». Двадцати восьми лет, 1772 года, января 1 дня получил Державин чин офицерский.

Тут было ему уже более свободы читать и писать. Он переводил с немецкого, подражал Гагедорну, Клейсту, Захарии, Галлеру, работал неутомимо, прослыл «грамотным человеком», взбесил Сумарокова безыменной эпиграммою, познакомился с Херасковым, президентом Берг-коллегии, Домашневым, директором Академии наук, Хемницером, служившим при Горном кадетском

корпусе, и проч. Но современные славы затмевали его. Новиков, издавая «Словарь русских писателей»⁵, не знал даже имени Державина, внося в список свой «Жукова Петра, кабинет-курьера» и прочую пишущую братью, превознося Сумарокова, критикуя Петрова, и проч., и проч. «Будучи офицером гвардии, когда позволяло время,

не оставлял я упражняться в любимом своем искусстве, руководствуясь правилами из книг русских и иностранных; переводы свои, большею частию, предавал я огню, никому не открываясь в своем упражнении, и иногда только читал безделки друзьям своим». Отважно принялся Державин за Клопштока и перевел две песни его «Мессиады», «которые читавшими оные были одобрены». Домашнев взял их к себе, желая хорошенько прочитать, и потерял. Державин не стал продолжать труда своего. Между тем друзья его отдали некоторые из его литературных упражнений тогдашним журналистам. Державин изумился, но не обрадовался, увидя в печати свой перевод Овидиевой «Героиды» (в 1772 году «Послание Вивлиды к Кавну») и несколько од⁶.

Тридцать лет было Державину, когда новое поприще жизни вдруг открылось ему. Бибиков отправился усмирять Пугачева и взял с собою подпоручика Державина. В 1777 году его произвели за службу в бомбардирские капитан–поручики и хотели выпустить в армию полковником. Но «недоброжелательство какой–то знатной особы» остановило успех службы. Державин с досадою увидел себя перемещенным в статскую службу, в чине коллежского советника, и принужденным служить у строгого, сурового князя Вяземского, который не терпел ни поэзии, ни поэтов. До 1782 года Державин, деловой человек, экзекутор Сената, советник Экспедиции государственных доходов, пять лет находился в одном чине. Где же его поэзия? Половина жизни его пролетела...

Но здесь, *1782 годом*, почти сороковым от рождения Державина, можно окончить первый период его жизни. Подражатель Сумарокова и Ломоносова, ученик Тредьяковского и Готшеда, стыдящийся страсти своей к

поэзии, безжалостно предающий сожжению свои опыты, он пишет в гимназии, в казарме, робко является в общество светское, за честь, за счастье почитает знакомство с современными литераторами. Но душа его уже отзывается сама себе. Бывши в походах с Бибиковым, он писал стихи беспрестанно. В год перехода своего в статскую службу решился наконец Державин *печатать* свои стихи

141

и издал брошюрку, назвав ее «Четалагайские оды»⁷; потом отдельно напечатал он эпистолу Екатерине и эпистолу Шувалову, на возвращение его из чужих краев (в 1779 году). Имя автора не было объявлено, и его знали весьма немногие.

Любопытно было бы прочитать «Четалагайские оды» (так названные по горе *Четалагай*, при которой долго жил Державин, в походе против Пугачева), большую часть которых составляли переводы стихотворений Фридриха II. Все, что ни писал Державин, казалось ему ничтожно и нелепо. В 1778 году он женился. Любезная, милая подруга, страстно любившая поэзию, сделалась новым вдохновением нашего поэта. Дружба Н. А. Львова, умного, острого человека, В. В. Капниста, напитанного учением классиков, Хемницера, добродушного ценителя произведений робкого друга, уважение Е. Р. Дашковой, готовой ободрять всякое, даже маленькое дарование, — все это побуждало Державина, между заботами службы, улетать в мир фантазии. «Всех прежних своих произведений я не одобрял, потому что хотел в них

подражать Ломоносову, но чувствовал, что талант мой не был внушаем одинаковым гением. Я хотел парить и не мог постоянно выдерживать красивым набором слов свойственного единственно российскому Пиндару велелепия и пышности. Для того, в 1779 году, *избрал я совершенно особый путь*, будучи предводим наставлениями Батте и советами Львова, Капниста и Хемницера».

Какой был этот *особый путь*? Мы узнаем его. Из стихотворений Державина, писанных до 1781 года, до нас дошли: «Успокоенное неверие» (преложение псалма, см. «Сочинения Державина», нов. изд., т. 1, 42), пис. в 1771 году; «На победы Екатерины» (1772 г.), «Вельможа» (1773 г.), «На кончину Бибикова» (1774 г.), «Монумент Петру Великому» и «Петру Великому» (1776 г.), «На освящение Каменноостровского инвалидного дома» (1778 г.), «Ключ» (Хераскову) и «На смерть Мещерского» (1779 г.), «Псалом» («Соч. Держ.» т. II, стр. 40), «На отсутствие Екатерины в Белоруссию», «К первому соседу» (1780 г.), «Вельможа» был помещен в «Четалагайских одах». Но нам известен он уже переделанный Державиным в 1794 году, «в другом виде, с прибавлением многих новых мыслей». Все, что ни писал Державин, казалось ему, писано было «нечистым, неясным слогом». И под новыми пьесами не подписывал он имени, но тихонько отдавал, однако ж, печатать их Брайко, издававшему

тогда «С.–Петербургский вестник». Брайко пересказывал ему потом мнения и суждения читателей. Державин сам

себе не верил, слыша, что его *похваляют*, писал, следуя своему *особому пути*, ждал, что будет. В 1780 году, бывши у заутрени в дворцовой церкви, в *светлое воскресенье*, он создал себе первую идею оды «Бог», «но обдумывая и принимаясь несколько раз писать, не мог, по рассеянности в столице, положить чувствований своих на бумагу». В 1781 году он создал «Фелицу». Довольный собою на сей раз, Державин показал это сочинение Львову, Капнисту и Хемницеру. «Они были также весьма довольны, но не советовали выдавать в свет, опасаясь, чтобы некоторые вельможи не приняли чего–нибудь на свой счет и не сделались врагами сочинителя». Державин спрятал свое творение, но показывал его иногда кое–кому. Дашкова сделалась в это время президентом вновь учрежденной Российской Академии и достала себе список «Фелицы». Екатерина расположила с нею план «Собеседника любителей русского слова», и Дашкова, не спрося ни Екатерины, ни Державина, начала первый лист «Собеседника» «Фелицею»^{*}.

^{*} Вот как сам Державин говорит о появлении в свете своей «Фелицы» (добродушие рассказа прелестно, и особливо при известности лиц, о которых идет речь, этот рассказ делается историческим фактом): «В 1782 году нанимал я дом на Литейной, у Петра Васильевича Неплюева, вместе с О. П. Козодавлевым; случилась мне надобность пойти в свое бюро, для сыскания одной бумаги, в присутствии Козодавлева, который, увидя мое сочинение, прочел и неотступно просью, под обещанием никому постороннему не показывать, выпросил прочесть тетке своей, Анне Осиповне Пушкиной, любившей поэзию, а особливо мои сочинения. По приязни к нему, не мог я в том отказать и ввечеру того же дня получил обратно. Но через несколько дней, против всякого чаяния, услышал я, что ода моя открыто читана в доме И. И. Шувалова, в присутствии обедавшего у него всего министерства. Шувалов, призвав меня к себе, в великом смятении, сказал мне: «Как нам быть и что делать? Оду вашу требует к себе князь Григорий Александрович (Потемкин): отсылать ли ее к нему так, как она есть, или выкинуть некоторые места, которые его образуют?» Я удивился и спросил его, как он о ней знает. Он отвечал: «У меня она есть». — «От кого?» — спросил я. Тогда признался он, что получил от Козодавлева, под векием секретом, но по случаю бывшего за столом разговора о поэзии и при замечании, что нет еще у нас такой легкой, каковою славится Франция, любя автора, не мог вытерпеть, чтобы к чести его не прочесть чрез всеми сие первое такого рода на русском языке творение. Он его чрезвычайно хвалил, но при всем том опасается, чтобы князь Потемкин не рассердился. Я спросил: «Кто же Потемкину сказывал?» — «Андрей Петрович (Шувалов)» Я отвечал: «Ежели сочинение сие уже известно стало, то, когда вы его не пошлете или что–нибудь из него выкинете, князь в самом деле может почесть, что оно насчет его писано; но как оно не что иное есть, как общее изображение страстей человеческих, писанное без всякого намерения, то я подписываю на нем свое имя и прошу отослать к требователю». Отозвавшись таким образом, хотя показал я вид бодрости, однако ж беспокоился, чтобы столь сильный человек, каков Потемкин, не принял некоторых стихов на свой счет и не наделал мне каких неприятностей. Я открыл

По должности своей Державин был у Вяземского, когда ему сказали, что пришел почтальон и его спрашивает. Он выходит; почтальон вручает ему пакет с надписью: «Из Оренбурга, от царевны киргиз–кайсацкой, Державину». Развернув, он увидел золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, и в ней 500 червонцев. В изумлении, в смятении возвратился Державин к Вяземскому, показал неожиданный подарок и спрашивал: позволит ли он принять? Вяземский «сперва грозно взглянул на меня, но, увидя табакерку последней французской работы», догадался, от кого подарок, посмотрел, улыбнулся и сказал: «Вижу; братец, вижу. Хорошо! Для чего такой подарок не принять. Да за что бы это?» — прибавил он, «с видом некоторого неудовольствия». Державин отвечал, что сам не знает, а разве за сочинение, которое ее сиятельство княгиня Екатерина Романовна сама собою напечатала в «Собеседнике». Дашкова привела Державина в совершенный восторг, рассказав ему, что в день своего доклада, воскресенье, оставила она у государыни первые листы «Собеседника» и была призвана рано поутру, в

сие происшествие другу своему Н. А. Львову, который был вхож и короток бывшему тогда еще графом Алекс. Андреев. Безбородко, и просил его разведать, как он думает о моем сочинении, и, если можно, предварить о нем с лучшей, сколько возможно, стороны государыню, дабы не понести ее гнева. Безбородко был в вышеупомянутой компании. Львов, будто ненарочно, читая некоторые стихи, вызывал тем графа на объяснение его мыслей; сей, однако ж, хотя отозвался с похвалою, но говорил ли что государыне, неизвестно, а кажется, по обстоятельствам, что не вошел в сие дело. Вскоре после того, когда открылась Российская Академия, княгиня Дашкова, будучи при дворе в уважении, сделана директором оной, а Козодавлев советником Академии. Он показал мою пьесу княгине; она ей понравилась. Предприяв издавать тогда периодическое издание, под название: «Собеседник», приказала она, не сказав никому ни слова, напечатать оную на первом листе и поднесла на апробацию государыне» (см. «Сын Отеч.» т. LXX, 242—243).

понедельник. Со слезами спросила у нее Екатерина: «Кто сочинитель, который написал «Фелицу» и который так подробно меня знает?»*

144

Здесь начался второй период жизни и поэзии Державина. Его немедленно представили ко двору благодарить за высочайшую милость. «Во время представления государыня остановилась против меня и осмотрела меня с особливым, проницательным взором, что было не только мне, но и многим заметно».

Шумно заговорили в Петербурге и во всей России о «Фелице» и Державине. Поэты писали ему стихи, послания; подражателей явилась толпа. Державина искали в светских, лучших обществах; в тот же год дали ему чин статского советника. Изъявив чувства свои в «Благодарности Фелице», он написал в 1783 году «Видение мурзы» и начал «Бессмертие души», «но более двух первых строф написать не мог». Время летело, и «Фелица» сиротела одинокая; поэт не присоединял новых лавровых венков на свою голову. Дашкова уговаривала его в это время написать *что-нибудь в похвалу Потемкина*. Державин знал необходимость поклониться сильному временщику. «Но как я был с ним тогда незнаком и не хотел показаться подлым ласкателем, то и написал стихи в шутливом тоне. В них видны были многие черты дел и характера Потемкина, а заключение сделано на общее достоинство вельмож, каковы они должны быть». Стихи

* См. «Ключ к соч. Державина», стр. 26. В «Сыне Отеч.» сказано иначе: «который так меня тонко знает» (см. XXX, стр. 245). О доставлении подарка императрицы Державин замечает, что он был ему вручен весьма деликатно.

эти были «Решемысл» («Соч. Державина», т. II, 267) — холодная аллегория, взятая из сказки «Февей», сочиненной Екатериною. Потемкину могли понравиться две, три строфы, как-то:

Бывали прежде дни такие,
Что люди самые честные
Страшились близ трона быть,
Любимцев царских убегали
И не могли тех змей любить,
Которые их кровь сосали.

Но то ли значило: *хвалить*, когда другие заставляли Аполлона стоять на коленях перед временщиком! Потемкин не сказал ни слова. Довольно было и того, что он молчал. Между тем слава «Фелицы» возбудила злобу и зависть. Боялись смелости, с какою дерзнул *коллежский советник* подойти к трону шутя; искали намеков на знатнейших вельмож, перетолковывали; другие, слыша, как эти намеки заставляли *говорить о* людях, заклеянных Державиным, досадовали, почему он не намекнул на них; дельные люди дивились, как можно было за такой вздор давать чины и червонцы, как можно

было перепоручать дела стихотворцу*; другие боялись эпиграмм и од Державина более доносов. Сама Екатерина

* «Некоторые в то время известные особы почитали упражняющихся в поэзии людьми ленивыми и к делам неспособными», — говорит Державин.

говорила, что мурза слишком хвалит ее. Напрасно поэт уверял, что он поет только тогда,

**Когда от бремя дел случится
И мне свободный час иметь.**

Напрасно писал он Екатерине:

**Возможно ль, кроткая царевна!
И ты к Мурзе чтоб своему
Была сурова столь и гневна
И стрелы к сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала
И пламени души моей
К себе и ты не доверяла?
Довольно без тебя людей,
Довольно без тебя поэту
За каждую мысль, за каждый стих
Ответствовать лихому свету
И от сатир щититься злых!
Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли:
Довольно кадиев, факиров,
Которы в зависти сочли
Тебе их неприличной лестью, —
Довольно нажил я врагов!
Иной отнес себе к бесчестию,
Что не дерут его усов;
Иному показалось больно,
Что он насадкой не сидит;
Иному — очень своевольно
С тобой мурза что говорит;**

Иной вменял мне в преступленье,
Что я посланницей небес
Тебя быть мыслил в восхищенье
И лил в восторге токи слез.
И словом: тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов...⁸

Ничто не помогало. Фонвизин давно говорил: «Между людьми так ведется, что если на тебя не рассердятся, так тебя рассердят». Поэт *рассердился* и — подал просьбу об отставке. «Какая дерзость!» — закричали деловые. Друзья боялись за Державина, и он — холодно был уволен со службы. Но Екатерина понимала певца своего лучше, нежели он понимал ее и самого себя, слушала

146

пересказы об нем, но не сердилась, улыбалась, велела дать ему следующий чин и через три месяца после отставки приказала определить его куда-нибудь губернатором. Выбрали — *Олонецкую губернию*⁹. И вот наш поэт, действительный статский советник, уехал в глушь лесов северных, оставя ненависть за собою в столице, решившись непременно бросить стихотворство, приняться *за дела*, показать, что и он умеет заниматься делом. «Я увидел тогда, что многие знатные люди стихотворства моего не жалуют, а меня гонят, и на несколько лет совсем оставил поэзию». В Петрозаводске ожидали его страшные неприятности. Генерал-губернатор Тутолмин встретил поэта насмешкою; дал ему разуместь, что он изгнанный мурза; послал его открывать уездный

город Кемь, и на Белом море, в жесткую бурю, Державин едва не погиб. Поэт представил проект свой о прокормлении лапландцев. Вздумал кормить лапландцев! Не забавно ли? Рассерженный поэт засел за бюро свое, сочинил длинное опровержение системы канцелярского порядка, составленной Тутолминым, и — получил повеление ехать в Тамбов и губернаторствовать там¹⁰. Постановление о вольницах Приказа Общественного Призрения, проект о судоходстве в Тамбовской губернии, топографическое описание сей губернии — вот что писал там Державин. Не прошло и двух лет от решения быть деловым человеком. Горячий нрав и пылкость поэта не сладили с хитростью и ябедою. Напрасно писал он Дашковой, не забывавшей его и в Тамбове (см. стихи «На смерть Румянцевой»):

Меня ничто вредить не может,
Я злобу твердостью сотру;
Врагов моих червь кости сгложет,
А я поэт — и не умру!

«Можно быть поэтом и беспокойным шалуном», — подумали наконец в Петербурге, видя беспрестанные ссоры Державина с другими. Его сменили и отдали под суд¹¹. Он приехал в Москву и почти три года жил в Москве и Петербурге, *под ответом*.

Сдержал ли он свое слово и точно ли «оставил поэзию на несколько лет»? Да, в некотором отношении. Он кончил свою оду «Бог» в 1784 году, когда был в отставке, но поступив в службу, писал проекты и бумаги. «Когда же увидел я, что все это не помогло и меня все гонят и бранят, то, по прибытии из Тамбова, в 1789 году,

принялся паки за перо, с большею ревностию». Он и не оставлял его, своего золотого пера, никогда — только не хотел писать *ничего важного*: переложил на Тутолмина псалом («Уповающему на силу свою»), составлял сценические прологи в Тамбове и псалмами отводил потом душу в Москве и Петербурге. Но тут явились его: «Ода на коварство», «На счастье», «Осень» (во время осады Очакова) и в 1789 году «Изображение Фелицы». В начале 1791 года граф Зубов привез известие о *взятии Измаила*. Державин вдохновился, изобразил новое торжество России в стихах и представил Екатерине. «Сия ода принята была императрицею весьма хорошо». К нему прислали табакерку, осыпанную брильянтами. Люди, считавшие Державина уже погибшим, изумились, зашевелились. Федор Эмин написал злую критику и читал самому Державину¹². «Я полагал, что это было чье-нибудь намерение рассердить меня и сделать смешным, то есть так же поступить, как прежде бывало с старинными стихотворцами, которых зазовут к себе бояра и, напустя на них кого-нибудь, взбесят, а те, для потехи, между собою бранятся». Вскоре приехал в Петербург *великолепный князь Тавриды*, сказал Державину всемогущее свое *спасибо* за его стихи, и Державин воскрес духом. В *апреле* 1791 года Потемкин давал неслыханный бал свой в Таврическом дворце и велел описать это торжество: в *декабре* 1791 года Державина оправдали. Впрочем, все дело его состояло в пустых сплетнях. Екатерина призвала Державина к себе,

определила статс–секретарем своим и велела ему писать все что угодно, только показывать наперед все ей самой.

Здесь начался новый период жизни Державина. Современники увидели в нем вельможу, литераторы покровителя, явились льстецы и прислужники. Смерть Потемкина отгрянула на струнах лиры его бессмертным «Водопадом», и — Державин умолк снова. Напрасно умный Храповицкий говорил ему, что «теперь–то и надобно писать». Нельзя было сказать *еще яснее*. «Нет! я обязан трудиться, заниматься делами», — отвечал новый *статс–секретарь*, указывая на кипу бумаг, накопившуюся по делу бывшего иркутского генерал–губернатора Якобия, и другие кипы.

Ты умный мне даешь совет,
Чтобы владычице Киргизской
Я песни пел,
И лирой ей хвалы гремел.

148

Так, так! За средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с нее бы за безделья,
И был гудком
Давно мурза с большим усом.
Но ежели наложен долг
Мне от судеб и вышня трона,
Чтоб не лучистый милый бог
С высот лазурна Геликона
Меня внушал,

Но я экстракты б сочинял,
Был чтец и пономарь Фемиды
И ей служил за алтарем,
Как омофором от обиды
Одних покрыв, других мечом
Своим страшит
И счастье всем она дарит;
То как Якобия оставить,
Которого весь мир теснит?
Как Лог<ино>ва дать оправить,
Который золотом гремит?
Богов певец
Не будет никогда подлец!

Вся эта пьеса весьма замечательна и превосходно выражает Державина. Вот заключение ее:

Ты сам со временем осудишь
Меня за мгlistый фимиам,
За правду ж чтить меня ты будешь:
Она любезна всем векам¹³.

После «Водопада» в 1791 году Державин написал стихи Н. В. Репнину: «Память герою» и «На Шведский мир»; в 1792 году «На рождение Ольги Павловны», «Каллиопа», «Умеренность» и начал было стихи на Революцию («Колесница»), но бросил неконченные; в 1793 году написаны им: «Горелки», вышеприведенные стихи «Храповицкому», «На панихиду Людовика XVI», «Львову», «Ласточка», «Преложение псалма» (Песнь брачная порфирородной чете), «Буря». В 1793 году уволили его от статс–секретарства и сделали сенатором. Пьеса

«Горелки» стоит упоминания. Придворные, заметив однажды, что Екатерина была грустна и задумчива, хотели развеселить ее; это было 15 июля 1793 года, в царскосельском саду; начали играть в горелки. Державин пришел с бумагами. Его уговорили бегать вместе с другими. Пятидесятилетний поэт побежал, упал и вывихнул себе руку. «По причине болезни, долго не мог я показаться у двора, от которого впоследствии и еще более отдалился, будучи

149

сделан, 8 сентября того же года, сенатором». «Хотя и видел я, — говорит Державин, — неожиданмый успех своих дарований, но их, так сказать, не обрабатывал и автором никогда быть не готовился, а упражнялся в поэзии только иногда, *между дел по службе* и между разбирательства третейских судов и управления многих опеки, в коих, без всякой корысти, защищал бедных и несведущих в законах от корыстолюбцев и ябедников. По сей причине небрег я и о сочиненных мною пьесах и никогда оных не собирал. Но супруга моя, любя поэзию и имея к ней от природы вкус, тихонько от меня переписывала их в одну тетрадь».

При должности сенатора Державину было довольно досуга. Он переделал тогда своего «Вельможу» и кончил «Бессмертие души». Бюст его, сделанный Рашетом, внушил ему прелестное создание: «Мой истукан». Вот что написано было им до кончины Екатерины: «Меркурию» (при пожаловании в президенты Коммерц-коллегии, в 1794 году), «Провидение», «Красавцу», «На взятие Варшавы», «На смерть Ольги Павловны», «Флот»,

«Приглашение к обеду», «К лире», «Соловей», «Павлин», «Богине здравия», «Кончина благотворителя» (Бецкого), «На покорение Дербента», «Гремислава», «Афинейскому витязю», «На кончину Орлова». «Императрица неоднократно изъявляла мне желание, чтобы я более упражнялся в стихотворстве, и как, *по некоторым обстоятельствам*, не мог я ничего вновь произвести, то и принялся за собранные супругою моею стихотворения». (Она скончалась 1794 года 15 июля. Державин вступил во второй брак впоследствии). *Приказав переписать оные как можно чище и украсив виньетами*, он поднес рукопись Екатерине. При ней приложено было бессмертное «Посвящение», вновь написанное. В 1797 году Державин создал свой «Памятник». Любопытно, что он хотел было вновь начать аллегорические песни Екатерине, под именем *Гремиславы* (стихи к Нарышкину), «оттого что имя Фелины сделалось уже слишком обыкновенным у всех стихотворцев, хотя выдуманно было автором единственно для того, чтобы удобнее было писать свободно и шутливо. Начата сия ода словами, часто произносимыми императрицею: «Живи и жить давай другим», к которым прибавил я и свое правило: «Но только не на счет другого».

Положение Державина при дворе казалось милостивою холодностью. Екатерина скончалась. Едва вступил на престол император Павел, Державин определен был

правителем канцелярии Государственного совета. Через несколько дней сменили его и велели опять по-прежнему быть сенатором. Смиренно и тихо занялся должностью своею Державин. Уже старость начинала тяготеть над ним: ему было с лишком пятьдесят лет. В 1798 году оплакал он кончину Шувалова и на досугах переводил оды Горация, перелагал псалмы. Время было грозное: вся Европа колебалась в основании. Храповицкий, в это время уже отставной вельможа века Екатерины, советовал ему даже выкинуть из своих сочинений похвалы некоторым вельможам. Ответ Державина был прелестен: тут мало поэзии, но видна душа человека («Соч. Держ.», т. 1, стр. 246);

**Храповицкий! дружбы знаки
Вижу я к себе твои:
Ты ошибки, лесть и враки
Кажешь праведно мои.
Но с тобой не соглашуся
Я лишь в том, что я орел.**

**А по-твоему коль станет,
Ты мне путы развяжи:
Где свободно гром мой грянет,
Ты мне небо покажи,
Где я в поприще пущуся
И препон бы не имел?**

**Где чертог найду я правды?
Где увижу солнце в тьме?
Покажи мне те отрады,
Хоть близ трона в вышине,**

**Чтоб где правду допускали
И любили бы ее?**

**Страха связанным цепями
И рожденным под жезлом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлетали,
Чувствуем ярмо свое.**

**Должны мы всегда стараться,
Чтобы сильным угождать,
Их любимцам поклоняться,
Словом, взглядом их ласкать.
Раб и похвалить не может:
Раб лишь может только льстить!**

**Извини ж, мой друг, как лестно
Я кого где воспевал,
Днесь скрывать мне тех бесчестно,**

151

**Раз кого я выхвалял.
За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит!¹⁴**

**Но великие события нового царствования
воспламенили прежний дух поэта. Рождение великого
князя Михаила Павловича, принятие императором
гроссмейстерства Мальтийского ордена были предметами**

его песнопений¹⁵. Наконец сбылось и то, о чем предвещал Державин в 1793 году — *заревели громы,*

На крылиях орлов несомы!

Суворов «пошел спасать царей». Певец Измаила загремел песнию, когда

**На галла стал ногой Суворов —
И горы треснули под ним!¹⁶**

Порывиста, бурна была сия песнь Державина. Павел благосклонно внял певцу Фелицы. В 1799 году он послал его для разбора затруднительных дел умершего Зорича; потом опять в Белоруссию в 1800 году, пожаловал ему тогда же чин действительного тайного советника и большой крест Св. Иоанна Иерусалимского; в августе 1800 года Державина определили опять президентом Коммерц-коллегии, и — он опять принялся *за дела*.

Восшел на престол Александр, и с новыми надеждами устремились к нему сердца нового поколения. Державин был немедленно уволен от своих должностей, но радостно приветствовал юного монарха звуками своей лиры¹⁷. При учреждении министерств, Державину дали Министерство юстиции. Он пробыл в сем звании *только год*, чувствовал, что его политическое поприще уже *кончилось*, и 1803 году октября 7-го, по прошению, был вовсе уволен от службы, на шестьдесят первом году, посвятив ей более сорока лет.

Здесь наступил последний период жизни и поэзии Державина. Еще *тринадцать лет* существовал он, жил большею частию в сельском уединении своем, на берегах Волхова, иногда в Петербурге, частным человеком,

посвящая все время поэзии и беседе друзей. Все уважали, чтили в нем великое дарование его; ласковость, радушие его привлекали сердца; к нему шли как к меценату и покровителю. Старец радовался всякому новому успеху, не старел сердцем и душою. Все великие события Александрова царствования заставляли его братья дрожащею

152

рукою за лиру: война 1806 и 1807 года, патриотический порыв России в 1807 году сопровождались его пением. В оде Платову даже воскрес его прежний гений¹⁸. В 1804 году он собрал свои мнимо *анакреонтические* стихотворения и издал отдельно¹⁹. В 1808 году он напечатал в первый раз полное собрание своих сочинений, оставив при первой части посвящение Екатерине и посвятив вторую Александру²⁰.

В последнем периоде — уже грустно смотреть на Державина. Целый век ошибавшись в своем гении, он всего более ошибался в последние годы своей жизни. Целый век непонимаемый своими современниками, он вовсе был не понят в последние годы. Никакого впечатления не произвели две большие театральные пьесы, помещенные им в 4-м томе сочинений: «Добрыня» и «Пожарский». Старец думал, что может принудить современников к сознанию его дарований и в сем роде. В 1809 году Академия Российская предложила задачу: *написать трагедию*. Державин предстал к состязанию, с пьесою жалкою, дурно написанною, уродливо классическою: «Ирод и Мариамна», где подражал он

надутости плана и выражению старых трагедий. Академия отвергла трагедию Державина и увенчала творение Хераскова «Зареида и Ростислав» — создание ничуть не лучше «Ирода и Мариамны». Державин не выдержал, напечатал отвергнутую трагедию и — объявил притом свое имя²¹.

Новое поколение отовсюду теснило уже старое, с его идеями, мнениями и понятиями. Обольщаясь новомодною мишурою, оно не умело оценивать последних искр угасавшего гения, безотчетно благоговело к его прежней славе и только из этого благоговения не хотело разрушать утешительных мечтаний старца. Улыбаясь, слушали все, что он писал вновь, и хвалили. С 1803 года по самую кончину Державин испытал многие роды стихотворений: драму, оду, элегию, преложение Псалтири, перевод Горациевых од, идиллию, переводы из Шиллера, из Ж. Б. Руссо, брал предметы из северной поэзии, РУССКОЙ старины. Наконец, когда в 1811 году составилось литературное общество, под названием «Беседа любителей русского слова», Державин, давший в своем петербургском доме залу для собраний «Беседы», пожертвовавший значительную библиотеку, взялся писать рассуждения об оде. Когда сошлись наконец грудь с грудью Наполеон и Россия, Державин пел начало войны, парение

орла над головою Кутузова, ужасы битв, гибель полчищ Наполеона. Каждая новая весть заставляла струны лиры его трепетать и душу его искать в них прежнего голоса.

После 1812 года и отъезда государя из Санкт–Петербурга, битва при Люцене, победа при Лейпциге, отъезд императрицы, отъезд великих князей, смерть Кутузова, взятие Парижа, сретение государя, государыни, гвардии, годовичное торжество взятия Парижа — все ознаменовывалось стихами Державина. Рукоплескания загремели еще раз дряхлому поэту при звуках песни его на возвращение Александра: «Ты возвратился, Благодатный!»²². Она была народной, вместе с немногими другими: «Хвала, хвала тебе, герой», «За горами за долами», «Что так рано солнце встало» и проч.

Нам неизвестны последние дни поэта. Знаем только, что он удалился тогда в свою Званку. Там издавна мечтал он о прежней жизни, в тихие летние вечера, на западе века, и говорил просвещенному архипастырю и другу своему Евгению, бывшему до 1808 года викарием Новгородским и епископом Старорусским:

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Мимолетящи суть все времени мечтанья:
Преходят годы, дни, рев морь и бурей шум,
И всех зефиров повеванья!..

Так самых светлых звезд блеск меркнет от ночей.
Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира!
Увы! и даже прах спашнет моих костей
Сатурн крылами с тленна мира!

Иль нет, Евгений! Ты, быв некогда моих
Свидетель песен здесь, взойдешь на холм тот
страшный,
Который, тощих недр и сводов внутрь своих,

Вождя, волхва гроб кроет мрачный;

**От коего, как гром катается над ним,
С булатных ржавых врат, и сбруи медной гулы
Так слышны под землей, как грохотом глухим
В лесах, трясясь, звучат стрел тулы.**

**Так! разве ты, отец, святым твоим жезлом
Ударив об доски, заросши мхом, железны,
И свитых вокруг моей могилы змей гнездом
Прогонишь бледну зависть в бездны.**

**Не зря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на понижение счастья,
Единой правдою меня в умах людей,
Через Клии оживишь согласи...²³**

154

Еще за несколько дней до кончины, смотря на «Реку времен», известную историческую карту, Державин написал на аспидной доске несколько строк. Вот сии последние звуки лиры бессмертного песнопевца:

**Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы...²⁴**

Далее еще две строки, но их нельзя разобрать*. Июля 9-го дня, 1816 года, ровно 73-х лет и 5-ти дней, скончался *Державин*. Он завещал похоронить себя в Варлаамском Хутынском монастыре, где неоднократно гостил прежде у друга своего, епископа Евгения, приезжая из Званки, и часто, любуясь величественным видом на окрестности, говаривал ему: «Здесь так хорошо, что иногда приходит мне желание навсегда здесь остаться». Монастырь сей стоит на 10-й версте от Новгорода. Прежде почти мимо его пролежала Московская дорога. Суевливая забота мчалась и мчится из столицы в столицу, не внемля звону с колоколен Хутыня, напоминающих древнюю славу Новгорода, чудо Святого, от которого ужаснулся и бежал Грозный Иоанн, бросив жезл свой, поныне хранимый в ризнице, и — память барда русского, *Державина!* Скромный гранитный камень лежит на могиле его, с черною мраморною урною; позолоченная решетка окружает могилу. В надгробной надписи исчислены все чины, все ордена *Державина*. На что это? На что ему даже эпитафия? Напишите: *Державин*, и — вы все сказали.

Род Державина пресекся с ним. Он не оставил после себя детей. Брат его младший, как мы выше сказали, умер за 46 лет до его смерти.

При новом издании сочинений Державин изображен в прическе, звездах и шитом мундире сенаторском. Хотите ли видеть его изображенного достойным образом? Посмотрите на портрет Державина, написанный Тончи (он сгравирован при «Собрании русских стихотворений

* Дощечка с этими стихами хранится ныне в С.-Петербургской императорской публичной библиотеке.

изданных Жуковским в 1811 году). Потомок Багрима, среди снегов родимой стороны, в шапке и русской одежде — мысль истинно поэтическая!

Кроме «Четалагайских од» и множества отдельно изданных сочинений Державина, «Анакреонтических стихотворений», изданных в 1804 году, и трагедии, первое собрание сочинений его напечатано было в 1798 году, по списку, отданному в типографию от Шувалова, в одном томе*. В 1808 году Державин издал их в 4-х томах. Первый том напечатан точно так, как был он представлен Екатерине в 1795 году; во 2-м помещены стихотворения его после 1795 года; в 3-м анакреонтические сочинения; в 4-м драматические сочинения и описание праздника Потемкина. В 1816 году Державин напечатал 5-й том — сочинения свои после 1808 года. В 1817 году изданы были избранные его стихотворения, под названием: «Лирика Державина». Нам не случилось видеть сего выбора. Впрочем, из Державина не должно выбирать. Надобно читать все, что он написал, иначе никогда его не узнаете: он не из числа поэтов на выдержку. Новое издание сочинений его великолепно, но порядок, в каком они расположены, нам не нравится. Что это за разделение на пьесы *духовные, философические, торжественные!* Хронологический порядок был бы всего лучше, ибо сочинений Державина нельзя делить на роды. Жаль, что

* «И. И. Шувалов, бывший, по образованию автора в Казанской гимназии, его куратором, желал, чтобы плод его попечений о распространении просвещения в империи был и в сочинениях Державина известен свету». Эти слова, которые можно бы почтить насмешкою, повторяются многими с удивительным добродушием. Неужели в самом деле Шувалов думал, что казанская гимназия помогла гению Державина и что гений Державина свидетельствовал за эту гимназию?

нет вариантов; жаль, что и не все собрано... Не говорим о примечаниях, которых, говорят, оставил Державин две большие тетради, и только малую часть издал г-н Остолопов²⁵. Проза его также остается неизвестною. Нам мало нужды в его *деловых бумагах*: проектах об устройстве евреев, о патриотическом банке, о межеванье, о продовольствии столиц, об опеках, о крымской соли, о третейском суде. Но Державин описал, говорят, подробно бунт Пугачева — как это любопытно! И почему этого не издать?²⁶

Едва ли кому-нибудь при жизни писали стихов, посланий и прочего более Державина. Кончину его почтили современники признательными приношениями в прозе и

156

стихах. Все сии стихи доказывают, однако ж, только одно: доброе намерение писавших оные. — Злоба, в свою очередь, оскорбляла Державина при жизни гнусными пасквилями, сатирами, пародиями. Но ни при жизни, ни по смерти его никто не оценил его творений вполне и критически. Неужели останавливало то же чувство, по которому наследник богача не считает богатств, ему доставшихся, боясь оказаться менее богатым, нежели полагает он? Не упоминаем о критиках Мерзлякова и характеристике, написанной князем Вяземским²⁷. Первый вытягивал творения Державина на классическую мерку; второй написал несколько легких страниц, исполненных ошибками и противоречиями...

Внимательно рассмотрев жизнь Державина, взглянув на его политическое поприще, постараемся теперь из этого двойственного бытия, вельможи и человека, чиновника и поэта, составить себе понятие о характере Державина.

Державин был поэт; характер его был поэтический, в самом обширном смысле, *поэтический преимущественно*. Кроме Пушкина, не было у нас другого столь *исключительно поэтического* характера, со времени преобразования России, ни прежде, ни после Державина. В душах всех других поэтов русских поэзия только отсвечивалась, не светила самобытно, не наполняла собою, не сжигала, так сказать, всего бытия их. Оттого направления их были либо слишком частны, односторонны, либо слишком развлечены и разнообразны. Сила души, устремленная на многое вдруг, не соединенная в одну точку, разливалась на все окружающее их и через то развлекала, разрушала *собственно поэтическое* стремление. Так, Ломоносов был поэт в жизни, невероятной и романической, но *собственно поэзия* была только слабою стихиею обширного мира души его. Он был столь же *ученый человек*, сколько *стихотворец*. У Крылова, Дмитриева, Фонвизина поэзия была вдохновением ума, а не непобедимым стремлением выразить себя в поэтических созданиях. У Жуковского она навеяна унынием души и удивительною приемчивостью чужих впечатлений. Грусть Души Жуковского и происшедшее оттого стремление за пределы мира, к чему—то неразгаданному, тайному отзываются в самых торжественных его песнопениях. Батюшков вдохновлялся противоположностью своего бытия с пламенными думами сердца и души: его сочинения были как будто желание забыть на время в наслаждениях

поэзии неисполненные мечты жизни. Негодование сделалось музою Грибоедова, иногда только вспыхивавшею божественным огнем поэтического восторга. Кантемир и Хемницер, один, как вельможа, смело шутя, другой робко и осторожно подсмеиваясь над людьми, не были истинными поэтами. Так являются нам все другие русские стихотворцы, с тех пор как поэзия разроднилась в России с бытом общественным, перестала быть необходимым народным пением, свободно, невольно выливающимся из души при звуках простой музыки. Не говорим о Сумароковых, Херасковых, Петровых, Княжнинных, которые не писали бы, если бы не читали написанного прежде их другими. Но рассмотрите всех остальных, старых и новых поэтов наших — Козлова, Баратынского, Языкова, Богдановича, Озерова, кн. Долгорукова, и вы убедитесь в частном, одностороннем, случайном, так сказать, их стремлении.

Не таковы *Державин* и *Пушкин*, у которых поэзия необходимость жизни, вся душа, все бытие их. Пушкин смело мог сказать о музе своей:

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой, и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.

С утра до вечера, в немой тени дубов,
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала:
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем!²⁸

Так и Державин говорил о самом себе, в полном сочувствии своего гения:

Кто вел меня на Геликон
И управлял мои шаги?
Не муз витийственных содом —
Природа, нужда и враги²⁹.

«Поэзия требует всего человека»³⁰, — сказал (помнится) Батюшков: это голос души. Вне поэзии Державин и Пушкин уничтожаются; с нею они исполины нравственного и вещественного мира. Да, только тот истинный поэт, кто *весь поэт*. Существовая вполне развитою жизнью

в душах только преимущественных поэтов, поэзия в то же время есть удел всех: в душе каждого из нас хранится искра ее, и нет сердца, которое никогда не отзывалось бы на божественные ее звуки. Оттого простолюдин поет песню, грамотный человек пишет стихи, и кто не поет, не пишет, тот чувствует сильнее биение сердца при гармонии

поэтической. Проницая собою самые высшие истины ума, самые великие подвиги разума, поэзия согревает душу философа и украшает подвиги законодателя и героя; но, собственно, она не есть ни ум, ни разум. Поэтому ничем не могут выразить сущности поэзии, кроме названия оной *безотчетным восторгом*, вдохновением. Читайте изъяснения самих поэтов, писавших о теории своего искусства. Сказавши нам о вещественных формах поэтических созданий, они начинают говорить темно, неопределенно о тайне души, непонятной для них самих. В это святилище воспрещен вход холодному уму и испытующему разуму человеческому. Сами поэты вступают в него в редкие минуты вдохновения и, вышед оттуда, ничего не помнят, ничего не знают, что там с ними было. Видя перед собою создания сих таинственных мгновений, поэт спрашивает у самого себя:

Миг вожделенный настал: окончен мой труд
многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик
ненужный,

Плату приявший свою, чуждый работе другой?³¹

Поэт рождается: сделаться им, выучиться быть поэтом — нельзя. Отличенный небесным знаменем поэзии, он является в мир с гармоническими звуками, с поэтическим взглядом, с особенным устройством души. Горе ему, если мир обхватит его железными своими когтями и не даст ему расцвести поэтической жизнью; еще более горе, если он не поймет самого себя! Среди людей он будет странное, уродливое создание, жертва

страстей своих и чужих; жизнь его будет борьба между небом и землею. Бессмертный миф слепца Омира, испрашивающего милостыни, ведомого отроком, — вот истое изображение поэта в борьбе с миром! Напрасно, подобно Данте и Мильтону, он вмешается в политические события; напрасно любовь, как Камозэнсу, улыбнется ему на заре жизни; напрасно, как Тасс, он призван ко двору властителей; как Шиллер или Байрон, хочет подчинить себя тихому счастью семейной жизни: тревожный, беспокойный

159

снедаемый внутренним огнем, поэт никогда не уживется с людьми, не помирится с условиями жизни их! Но если он покорился им, увлекся ими, тогда — Прометей, прикованный к скале Кавказа, — зачем при рождении своем похищал он небесный огонь и оживлял им бrenное свое существо!

В таком-то исключительно поэтическом характере разгадка дикой, чудной поэзии и противоположной тому прозы жизни Державина.

Будем ли мы правы, обвиняя людей за их сочувствие к созданиям поэзии и несогласие с самими поэтами в то же время? Как: они пламенно любят поэзию и не терпят поэтов? При рассмотрении прилежном, мы — оправдаем людей...

Создание необыкновенное, выходец из идеального мира, поэт бывает горд, самоуверен, раздражителен; дитя перед общим разумением, он подавляется умом, который

превосходит его, и удивляется разуму, который искусно занимается людскими делами. Не почитайте его самого безумцем: и вне области поэзии у него есть минуты, идеи, мысли, которые, как молния, прорезывают мрак, где недоумевают ум и разум человеческий. Но не ему быть постоянным, тихим светильником, при котором люди занимаются работою жизни. Поэт может бросить великую идею, богатую последствиями мысль на все предметы в мире, но не ему развивать свою идею, не ему приводить в исполнение свою мысль. — Люди тонут в болотистой дороге. Приходит поэт, взглядывает и говорит: «Долой вот эту гору, и дорога будет прямая, и вы перестанете тонуть в болоте!» Люди изумляются, но изумление их скоро проходит; они лезут на гору, соображают, думают, начинают копать, рыть, сто лет будут они срывать гору и наконец сроят ее. Но дайте эту работу уму поэта: он подумает, что можно подорвать гору вдруг, забывши, что неостанет на это средств, и если бы достало, то обломками может завалить все окрестности.

Для жизни общественной, для долного мира, где дух человека связывается пределами вещества, мало одного чистого ума, мало одних только идей. Согласие духа и вещества требует *приложений*, и сии-то приложения составляют законы и условия человеческого общества. Разделяясь на бесчисленное множество отношений и приличий, они связывают всякое частное своеволие. Эгоизм употребляет их во зло, но, однако ж, нет никакого

условия, которое не шло бы из источника добра и блага и не вело бы, положительно или отрицательно, ко благу. Человек, разрушающий их, не должен жаловаться, что люди немирны с ним, что они стоят за себя и гонят от себя и его, и всякого не подходящего к их уровню, кто бы он ни был, из ада или из эдема пришелец. Если он пересилит их в открытой борьбе, ему покорятся. Здесь тот же ответ, какой пират сделал Александру Македонскому. Усилия гения, если у него недостает сил и средств, заставят его только сознаться в своем бессилии и безвременье. И такое состояние гениального человека совсем не клевета на провидение, которое взирает свыше на зло и добро и одною, мгновенною бурей очищает душную атмосферу веков, сжигая все испорченное, но не нарушая для частного явления вечных законов своих.

Ниспосылаемый им ангел разрушенья
Взрывает, как бразды, земные племена,
В них жизни свежие всеваает семена,
И обновленные быстрее расцветают:
Как бури в зной поля, беды их возраждают...^{*32}

В таком отношении находятся мир и общество к поэту. Блажен, если он умеет сознать, что «царство его не от мира сего», по слову божественной мудрости; если он оценит блаженство своего душевного уединения, к которому придут преклониться если не современники, то потомство; блажен, если судьба счастливо помирит для него вещественность с духом, как помирила их для Гете, или когда он будет уметь ужиться с миром, как В. Скотт, или уметь удалиться от него, как Шекспир! Но подобное

* Жуковский. «Послание к императору Александру».

отношение поэта есть исключение, и исключение редкое. Обыкновенная участь его — борьба, тяжкая, нескончаемая, непримиримая борьба, и всего более самая песнь его бывает воплем отчаяния, вдохновением скорби, и мир, привыкший к этому, слушает такую песнь с благосклонною улыбкою, как дикие американцы смертную песню пленника, осужденного ими на смерть...

Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон
И выстраданный стих, пронзительно унылой,
Ударит по сердцам с неведомою силой,

161

Она в ладони бьет и хвалит иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
«Тем лучше, — говорят любители искусств —
Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст...»³³

Что же следует? Вступая в мир, поэт нередко начинает терять, уступать, променивать свое высокое назначение, покоряясь отношениям общества, увлекаясь вещественными условиями. Нет такого яда, такого смрада, к которому нельзя было бы наконец приучиться: они не перестают разрушать нашего бытия, но не мертвят уже человека вдруг. Если же поэт — как почти всегда

бывает — родом, званием, состоянием ниже других, самых обыкновенных людей, чувствует свое превосходство над ними, и среди борьбы с миром ему улыбнется случай, счастье начнет осыпать его своими дарами, приближать его к сильным мира? Блеск, сила, мирская деятельность увлекательны, упоительны. Поэту легче бороться с несчастьем, нежели с счастьем. Тогда поэзия гаснет в душе поэта, мир увлекает его, и — забавно и горестно смотреть, как тогда поэт почитает себя *светским* или *деловым* человеком, думает, что гений уравнил его во всех вещественных отношениях с другими! То, чем он должен бы выделиться, он прячет от людей, стыдится своего богатства и добровольно меняет его на богатство тленное, мирское. Нередко гибнет поэт в своем обольщении, гибнет совершенно, поддается ничтожным приличиям и отношениям, покоряется людям, которые забавляются, торгуют им, как заморскою диковинкою... Иногда на целые эпохи налегает подобное унижение духа, и целые поколения поэтов раболепствуют миру. Таков был период французской поэзии, от Людовика XIV до Людовика XVI³⁴. Поэты, во все это время, не стыдились передних, не гнушались последним местечком за столами вельмож и горделиво хотели даже означить для потомства свое бедное бытие, назвав век свой по имени Людовика XIV и воспевая победы Людовика в его обозе...

К счастью, не все века таковы, и в каждом веке яркие исключения освещают мрачную картину забвения высокого достоинства самих себя. Этого мало: в жизни каждого поэта не всегда продолжается очарование; никакая сильная душа не выдерживает постоянно тяжелых условий мира, и сквозь мрак целой жизни сверкают

поэтические, святые минуты вдохновения, высокого самопознания поэтов!

Вот общие черты жизни Державина. Сообразим ее подробности.

Сказать, что, родясь позднее или раньше, Державин выиграл бы более, нельзя. Мы не знаем таинственного закона провидения, по которому вдруг является в мир великое создание, бог знает где, бог знает как. Скажите: почему Монблан стал именно близ Женевы, а Дунай изогнулся не в Северное, но в Черное море? После сего всегда неизъяснимо будет для нас: почему именно в 1564 году в городишке Стратфорде у ничтожного торговца шерстью надобно было родиться сыну *Виллиаму Шекспиру*, а на берегах Булака в 1743 году у бедного офицера сыну *Гавриилу Державину*?

Только *восемнадцать* лет прошло тогда от смерти исполина, преобразовавшего Россию³⁵. *Державин-поэт* родился готовый на исполнение своего призвания. Но с самого дня рождения началась борьба его с миром. Купи свое величие, гений: мир не уступает его даром! Неодолимый жар познания палит душу отрока. Живопись, музыка, поэзия движут его воображение; он видит грубые черты, слышит безобразные звуки и ищет в них того, что еще неразгаданно является ему в душе его. Он испытывает уже все роды словесности, прозу и стихи; он увлекается звуками лиры Ломоносова, и, преимущественно *лирический поэт*, робко идет вслед за холмогорским рыбаком. Ода, лира становятся его целью. Но между тем мир сжимает его в тесноте жизни; бедный

сирота, восемнадцати лет солдат, восемь лет проводит он в казарме и на карауле, в нужде, в труде, иссушающих душу, алчет познаний и не удовлетворяется тем, что находит, испытывает свою лиру, прислушивается к звукам отечественных и чужеземных певцов. Что встретил он тогда в России? Что могли передать ему чужеземцы?

Никогда поэзия не была чужда снегам и лесам Севера. В оссиановских песнях, в созданиях скальдов, в мрачных мифах Одина и Валгаллы, в кровавых песнях Регнера и бешеных кликах берсеркеров отзывался Север³⁶ на призыв неба, выражаемый в человеке поэтическим чувством. Этот железный звон души человеческой слился в Руси с восточным, роскошным голосом славян, с огромными их изображениями и, наконец, с религиозными легендами Греции. Прекрасны, самобытны были во все это время песни первоначальной Руси, повести об

Олегах, Святославах, Владимирах, Рогнедах, Игорях. Мрачная ночь монгольского ига задушила сей поэтический голос Древней Руси. Только скорбь начала одушевлять песни народа, отчаявшегося в воскресении самобытности. Грубые страсти, мелкие отношения завладели песнопением, простым, безыскусственным, сопровождаемым звуками грубых музыкальных инструментов. Робко являлась народная песня в терема и чертоги царей и людей знатных; на нее смотрели как на грубую забаву черни. Западная, схоластическая поэзия, через Киев, прокралась с погремучкою рифмы, с

Аполлином, Венусом, Эрмием, духовными мистериями, ложным рифмом, риторическим восторгом. Эту поэзию застал в России Петр; она приветствовала полтавского победителя варварскими стихами:

Петр, камнем веры Христовой названный,
Виват царь, государь, богом увенчанный!³⁷

Преобразитель России, русским штыком очистивший для нее место в Европе, бросил высшие сословия русских в тогдашнюю европейскую форму. Чувствуя, что не веки жить ему, а надобно совершить вековые подвиги, он спешил выхватить у Европы плоды просвещения и образованности; польза вещественная, сила вещественная были главным предметом забот его. Поэтическую сторону человека он почитал только *средством* для блага вещественного. Поэзия не дерзала явиться среди стука секир, созидавших флоты и города, среди грома оружия, утверждавшего пределы и величие России. Так сильно, так велико было начало новой жизни, данное Петром России, так далеко провел он Россию на поприще европейском, что Россия долго после него жила только его жизнью, шла только по направлению, им данному. Но Петра уже не было; не умели руководствоваться его гением, перенимая у Европы, и перенимали все, и хорошее, и дурное. Подражание совершенно заменило самобытность. Следовали без разбора тому, что видели в Европе, и когда первые потребности были удовлетворены, безусловно отразилось на России и поэтическое стремление духа европейского; литература новая начала создаваться по образцу нерусскому, чуждому. Переводили, переделывали, подражали, а *не творили*. Классицизм века

Людовика XV, со всеми его привычками, правилами, с его эпопеею, драмою, лирикою, обладал тогда Европой и перешел в Россию, заменив латинскую

164

западную схоластику. Пока проказничал Тредьяковский и готовился Сумароков — явился необыкновенный человек: *Ломоносов*, Петр в своем роде. Говорят, что он перенял склад поэзии своей у немцев. Но что делали тогда немцы? Подражали классическим французам, так как и англичане не смели тогда преклониться пред великим своим Шекспиром и отвергали даже приобретенную ими могущую самобытность литературную. Начало первой оды Ломоносова взято было из оды Буало³⁸. Но Ломоносов, соединив с классицизмом схоластику, вставлял целиком в оды свои места из Цицерона, как в слова и речи свои вклеивал места из Плиния. Подражание и классицизм были сущностью всей русской литературы: схоластически обрабатывал Ломоносов язык русский; Лафонтен внушил Богдановичу шутливую поэму³⁹; Расин, Корнель, Вольтер вдохновляли Сумарокова, Тасс и «Генриада»⁴⁰ — Хераскова; Княжнин и другие пошли еще далее: они просто переставляли русские имена вместо иностранных и выдавали переводы за оригиналы.

В таком-то мире явился поэт Державин. Он увлекся вначале другими, впал во все тогдашние ошибки и недостатки: переводил Горация и Овидия, не понимая духа древних; надувал торжественную трубу; искал правил у Тредьяковского и Баттё — так ошибался он в поэзии своей. Еще важнее была ошибка в жизни. Едва

успевши выйти из пределов тесного, затруднительного своего существования, состоя в ранге бригадирском до сорока почти лет, Державин думал, что здесь было настоящее его назначение; думая так, он *служил* и почитал поэзию мимолетным занятием. Это было еще извинительно Державину в тогдашнем его положении.

Да, он виден уже и в это время — в негодовании, какое возбуждают в душе его пороки, несправедливость и гордость; виден в том быстром решении, с каким, будучи 20-ти лет, хотел он все бросить и осмелился явиться к Шувалову, прося взять его в чужие края⁴¹; виден в пренебрежении ко всему, что писал он тогда, в робости, недоверчивости к самому себе, в хладнокровном презрении, с каким истреблял, жег он свои создания; виден и в смелости, с какою брался он за перевод «Мессиады»⁴². Наконец, самобытный ум его виден в самом названии стихотворений своих *Четалагайскими* и в том, что *тогда* успел он создать. К этой первой эпохе жизни Державина относятся: «Вельможа», «На смерть князя Мещерского», «Ключ», первая идея оды «Бог», стихи «К первому

165

соседу». Вспомните, что все это писано за *шестьдесят лет*, и не изумят ли после сего вас стихи Державина своею самобытностью, своею смелостью? Кто из современников мог внушить ему следующие звуки?

Где стол был яств — там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались клики,

**Надгробные там воют лики
И бледна смерть на всех глядит!**

**Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и серебре кумиры;**

**Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И — точит лезвее косы!⁴³**

Стихи дурны — нет сомнения, но мысль, образы... Как беден против Державина Гораций с своею также Бледною смертью! Не Ломоносов и не Баттё могли подсказать ему и стихи его «К соседу» (в 1780 году). Читая их, не верите, что они написаны за 50 лет:

**В вертепе мраморном, прохладном,
В котором льется водоскат,
На ложе роз благоуханном,
Средь лени, неги и отрад,
Любовью распаленный страстной
С молодой, веселою, прекрасной
И нежной нимфой ты сидишь;
Она поет, ты страстью таешь,
То с ней в веселье утопаешь,
То, утомлен весельем, спишь.
Ты спишь, и сон тебе мечтает,
Что ввек благополучен ты;
Что само небо рассыпает**

**Блаженства вокруг тебе цветы;
Что парка дней твоих не косит;
Что откуп вновь тебе приносит
Сибирски горы серебра* ,**

166

**И дождь золотой к тебе лиется...
Блажен, кто по утру проснется
Так счастливым, как был вчера!
Блажен, кто может веселиться
Бесперерывно в жизни сей!
Но редкому пловцу случится
Безбедно плавать средь морей:
Там бурны дышат непогоды,
Горам подобно, гонят воды
И с пеною песок мутят...**

**Непостоянство доля смертных,
В временах вкуса счастье их;
Среди утех своих несметных
Желаем мы утех иных;
Придут, придут часы те скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанут грации трепать...⁴⁴**

* Стихи сии были писаны Державиным к знаменитому богачу и откупщику М. С. Голикову. Роскошный, великодушный богач этот содержал на откупе Сибирь, Москву, Петербург, обладал миллионами, жил вельможески, изумлял своими пирами, весельем и умер, не оставив детей. После него дела найдены в расстройстве, но и остатками обогатились все его родственники. Один из них, И. Л. Голиков, участвовал в открытии Америки с Шелиховым. Державин предугадал участь богача-откупщика, говоря ему:

**Блаженство то лишь непорочно,
Раскаянья за коим нет!**

Последние годы «Соседа» были отравлены болезнями, горестями, неблагодарностью знатных и изменою близких людей...

В торжественных тогдашних стихах Державина виден еще надутый подражатель Ломоносову. Но любовь, дружба, гений обитали с Державиным, и он, недовольный ничем, мыслил уже о *совершенно особом пути*.

Следствием сей беспокойной мысли была — «Фелица». Трудно сыскать другую поэтическую, столь самобытную, смелую идею, какова идея сего бессмертного творения. Вот ее основание: Державин вел род свой от какого-то татарского мурзы *Багрима*. Мурза этот выехал из Золотой Орды при Василии Темном, крестился, сделался подданным московского князя, и от него произошли Нарбековы, Акинфиевы, а от одного из потомков его, называвшегося *Держава*, — *Державины*. Таково начало мысли поэта.

Уже двадцать почти лет Екатерина восседала на троне России, начала и успела в сие время развить новый период государственной жизни после Петра Великого. Сей период был отличен против периода, продолжавшегося от Петра до нее. Если царствование Петра можно назвать *великим*, царствование Екатерины беспрекословно назовем *славным*. Сии названия обозначают для нас дела Петра и дела Екатерины. *Слава* была символом Екатерины. К ней было устремлено все. Петр поражает нас величием подвигов, Екатерина славою предприятий.

Он строил флот — она послала флот русский в Средиземное море; он сам составлял в уединении своем законы — она призвала всю Россию писать их вместе с нею; он построил города — она воздвигла в них дворцы и

чертоги. Гремя оружием в пределах Оттоманских, отнимая целые царства у Стамбула, Екатерина, не боясь, слышала шведские выстрелы под самым Петербургом, крепкою рукою задушила безумную ярость Пугачева, ослепила всю Европу блеском побед и великолепия, уничтожила Польшу, коснулась скипетром берегов Америки, рассыпала мильоны между подданными. Окруженная роскошью, вкусом, великолепием, умом Европы, людьми, каковы были: Таврический, Задунайский, Рымникский⁴⁵, Безбородко, Вяземский, Орлов, Шувалов, Бецкий, Панин, — Екатерина казалась полубогинею. Ее путешествие в Крым, когда римский император и польский король встретили ее среди избранного европейского общества, среди толпившихся на сретение изумленных ее подданных, среди грома и пышности, и когда она, с улыбкою говоря спутникам о взятии Царяграда, указывая на безмерные свои области, прибавляла: «Мое маленькое хозяйство идет очень порядочно», — вот характеристика двора и века Екатерины. Державин видел в ней богиню Севера, как видели все другие.

Могла ли Екатерина не понять, чего лишится ее царствование, если поэзия, искусства, науки не прибавят своего голоса, своей славы к громам побед и блеску дворского великолепия? Она понимала это очень хорошо. Немедленно по вступлении на престол учреждает она корпуса, училища, воспитательные дома; дает Академии наук новые права и преимущества; потом устраивает Переводный департамент, Экономическое общество, новую Академию для словесности, Комиссию училищ; позволяет всем заводить типографии, ездить свободно в чужие края. Ученые странствуют по ее велению в Сибири,

в Крыму, на Кавказе; в Европе покупают для нее редкости и художественные произведения; царь ума, фернейский старик, осыпан ее подарками⁴⁶; она переписывается, шутит с ним; призывает ко двору своему Дидеро; Фальконет воздвигает по ее воле великолепный памятник Петру и бросает целую гору под его подножие. Этого мало: она сама посещает Ломоносова в его мастерской, и тот со слезами падает к ногам ее; она сама занимается словесностью, в избранном круге своем: пишет

168

«Историю», издает сказки, располагает планы журналов, сочиняет комедии, переводит книги.

Все это должно было иметь сильное влияние на словесность. Но что ни делали в России, все было не самородное русское и должно было усилить влияние самых форм классицизма европейского. Век Екатерины был для России блестящим веком Людовика XIV и меценатов. По их образцу устроилось и русское меценатство литературной иерархии. Литераторы искали покровительства вельмож и не приближались к трону. Им указан был предел, далее которого нельзя было переступить в отношении установленного порядка. Потемкин называл Фонвизина *Денисом* и возил Петрова в обозе при себе. Уровень покровительства (*протекции*) и классицизма сглаживал все. Поэт, как за дело по должности, принимался за торжественную оду, и ему давали определенный подарок. Надобно ли было написать трагедию — переделывали что-нибудь французское, подносили милостивцу и отдавали потом на театр,

уверенные в успехе, если могли понравиться избранному обществу судей.

Благоговевя пред славою Екатерины, Державин первый захотел говорить с нею как с человеком, а не с государынею, первый решился подойти прямо к ее трону, а не к передней какого–нибудь вельможи, и не с одою, но с голосом души, выраженным не по правилам риторики и схоластики, но по чистому чувству блага и добра. Он хотел высказать притом все негодование против порока, облегченного пышностью и величием. Вся душа его просилась на волю. Екатерина написала тогда сказку о царевиче Хлоре. Сказка эта, назначенная для юного великого князя, весьма проста. Царевичу Хлору, похищенному киргиз–кайсацким ханом, велят отыскать *розу без шипов*. Дочь хана, царевна Фелица, руководствует Хлора. Следуют аллегории пороков и добродетелей. Сын Фелицы, Рассудок, ведет Хлора за руку. Хлор находит розу. Соединив мысль о татарском своем происхождении с идеею Екатерины, Державин написал послание от мурзы к Фелице и назвал его «Ода премудрой киргиз–кайсацкой царевне Фелице, писанная некоторым татарским мурзою, издавна в Москве поселившимся, а живущим по делам в С.–Петербурге; перевод с арабского языка»^{*}.

169

Современники могли восхищаться в «Фелице» тонкою похвалою Екатерине, умным вымыслом и живыми портретами вельмож и современников; их могли

^{*} Таково было первоначальное название «Фелицы». Как можно о не восстановить его при новом издании «Сочинений Державина»!

ослепить и успех Державина, и шум, какой произвело его создание. Но мы, для которых все это исчезло, которые видели, читали и узнали после сего так много, не можем, однако ж, не изумляться «Фелице»: благородная, гордая, шутливая, язвительная, богатая словами, «Фелица» Державина всегда останется в числе вековых памятников языка русского, души поэтической, возвышенной, сердца пламенного. Ничего подобного не можем мы сыскать ни в нашей словесности, ни в литературах иноземных.

Не знаем, что сделал бы с Державиным Людовик XIV, но Екатерина поняла поэта, и поняла совершенно. Так же поэтически изъявила она благодарность свою певцу, как он поэтически явился перед ее троном.

Что, если бы Державин тогда угадал свое назначение? Чего еще недоставало ему? Он пробил совершенно новую дорогу; нашел свой *совершенно особый путь*; имя его гремело по России; толпа влеклась за его созданием; любовь, дружба, уединение, тихий быт семейства и поэзия могли занять его душу.

Но здесь большой свет увлек его, принял его к себе, ввел в свою область. Неуравненный ничем другим, видя вокруг себя или *знатный*, или *деловой народ*, чувствуя, что на него смотрят как на редкость — *поэта в обществе*, — гордый своим внутренним достоинством и уничтожаемый другими как человек, который *стихи только писать может*, представленный ко двору, но не допущенный в очарованные дворские чертоги, — Державин стыдился самого себя, своей славы. Это умели растолковать и схватить злоба и зависть, успели растревожить его пламенную душу, употребили во зло его пылкий характер, и Державин, оскорбленный, подал в

отставку от дел. Екатерина видела и ошибку честолюбия чиновника, и ошибку самолюбия поэта, который пишет деловые бумаги и забывает стихи, и то, какой блеск может придать России гений Державина. Но ей нельзя было, без нарушения заведенного ею чиновничья, приблизить Державина прямо к себе. Она велела дать ему губернаторство. Новая ошибка Державина: он думает, что в нем *сознают делового человека, дорожат им*, и он клянется бросить поэзию, не доверяет гению своему. Трехлетним опытом уверяется он в ошибке и видит себя изгнанного, униженного, забвенного двором и Екатериною. Тогда голос

170

души говорит ему снова, сильно, непобедимо. Свет оттолкнул Державина–чиновника к Державину–поэту, и певец Фелицы снова берется за лиру, и каждое новое его творение есть доказательство его гения, самобытного, неистощимого, разнообразного. Оды «На счастье», «На коварство», «На взятие Измаила», «Изображение Фелицы», «Бог», «Осень» — какие создания, какое воображение, богатое и великолепное, как Екатерина, суровое, как русская зима! Потемкин, стоя выше всех, не мог завидовать Державину; напротив, покровительство делало славу Потемкина, и — одно слово временщика возвратило Державину все. Екатерина захотела оградить певца своего от всех отношений; мелкие приличия уступили дарованию; она приблизила Державина к себе и дала ему знать, чего требует от него в награду за все это.

Неужели гений Державина еще раз ошибется? Да, он снова холодеет, пишет мерзлую оду победителю при Мачине⁴⁷, посвящает памяти Потемкина одно из прекраснейших созданий своих («Водопад»), опять принимается *за дела*, не слушает слов Храповицкого, не понимает, что Храповицкий говорит ему от имени Екатерины, и видит снова удаление свое от двора. Между тем он уже знатный человек. Ему кажется, что теперь уже не доказательство деятельности, но долг и совесть обязывают его заниматься не поэзией, но делами. Удаление от двора тотчас оживило гений Державина. Он воспекает «Бессмертие души», «Падение Варшавы» и негодование его оживляется в «Вельможе». Но с горестию чувствует Державин, что время свободного парения его проходит, что он «не может ничего вновь произвести», и всю жизнь, всю поэзию свою думает он сосредоточить в прежнем, в славе Екатерины; заботится о том, что произвел некогда, чем небрег до того времени, чего никогда даже не собирал. Прошедшее заменяет ему настоящее. Изображение жизни человеческой! Не так ли мы вступаем с мечтами и надеждами на путь жизни, пренебрегаем ее радостями, не заботимся о том, что сбывается, осуществляется для нас? Вперед, вперед к далекой цели истинного счастья!.. И годы пролетают, холодеют мечты, воспоминания сменяют надежды, и мы начинаем ставить в расчет более былое, нежели будущее, говорить сами себе: «И того было довольно! Разве не исполнен долг?» Послушайте разговор двух старых друзей: всего более состоит он из воспоминаний. Восторг,

внушенный Державину славою Екатерины, кажется ему залогом его славы, потому что ее бессмертие не разделится с песнями Державина. «Из того, что сделано, поймут, что мог бы я еще сделать; из того, что сказано, угадают, что мог бы я еще сказать». «Так, — думает он, чувствуя усталость своего гения, видя, что на плечах его лежат с лишком пятьдесят лет, — меня не забудут и за то,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возвестить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить!»⁴⁸

С этою мыслью поверг Державин перед троном Екатерины свои творения и говорил ей: «Монархиня!

Что смелая рука поэзии писала,
Как бога, истину, Фелицу во плоти
И добродетели твои изображала —
Дерзаю к твоему престолу принести.
Не по достоинству изящнейшего слога,
Но по усердию к тебе души моей,
Как жертву чистую, возженную для Бога,
Ты прими ее и в кротости твоей
Прими и освяти твоим благоволеньем
И музе будь моей покровом и щитом,
Как мне была и есть ты от клевет спасеньем,
Да веселясь она и с бодрственным челом
Пройдет сквозь тьму веков и станет средь
ПОТОМКОВ,

**Суда их не страшась, хвалы тебе вещать!
И алчный червь когда, среди гробовых обломков,
Оставший будет прах костей моих глодать,
Забудется во мне последний род Багрима,
Мой вросший в землю дом никто не посетит,
Но — лира где моя, в пыли, лишь будет зрима,
И древних струн ее где голос прогремит —
Под именем твоим громка она пребудет,
Ты славою — твоим я эхом буду жить.
Героев и певцов вселенна не забудет —
В могиле буду я, но — буду говорить!..»⁴⁹**

Но еще раз суждено было Державину испытать приближение к трону, и удаление от него еще раз возбудило гремящие, сильные звуки в струнах его лиры, как будто гению его надобно было до конца жизни сознавать себя только тогда, когда неправильное его направление было ему показуемо жизнью. События царствования Павла были ознаменованы последними самобытными песнями Державина и последними действиями его на политическом поприще. Министерство его при Александре

172

было только неудачным опытом сблизить старый век с новым, и вся остальная поэзия Державина, все многообразные порывы его на разные роды стихотворений были такими же опытами.

О *последних* творениях Державина и вообще о том, что писал он после смерти Екатерины, судят слишком

строго. Нам кажется, это несправедливо. Державин дорожил своими деловыми и государственными способностями, но он не был рожден государственным человеком. Чувствуя самобытность своего гения, он сознал его, и все, что произвел он, вдохновенный сим сознанием, почитал он, почитали и другие великими его творениями. В то же время Державин не хотел отстать от других и в поэзии, как не хотел уступить другим на политическом поприще. Преложения псалмов, оды в роде Ломоносова, подражания Горацию, Анакреону — все, что делали его современники, делал и Державин. Величие его самобытных творений уничтожало сии подражания в глазах его самого и других. Излишек самобытности вредил ему в этом случае: самобытность эта и сила гения были причиною, что всякое *подражание* его ознаменовывалось печатью величия и изящества, коих тщетно будем искать у всех других русских поэтов, кроме Пушкина. Горациевская, ломоносовская, анакреоновская ода, псалом, русская песня, драма делались *созданием Державина*, носили на себе следы его гения. Таковы и последние его сочинения, коими никак не должно пренебрегать: это горящие уголья костра, на котором сгорел феникс. В сравнении с произведениями зрелых лет Державина, произведениями, когда он, крепкий телесными силами, еще не видел конца ни своим великим идеям, ни своему поприщу, — они, конечно, недостаточны. Но зато сила слова, опытность, роскошь подробностей их изумительны. В духовных пьесах Державин говорит, как библейский патриарх; в торжественных — это бард седовласый, играющий дрожащими, но опытными перстами; в шуточных, нежных пьесах — это русский певец, наслышавшийся о старине, бывалый при дворах

царей, пленяющий родными звуками. Но мы будем еще говорить о творениях Державина; теперь dokonчим изображение его как человека и поэта.

Державин явился *в свое время*, ибо он, никем не руководимый, мог понять самобытность свою за шестьдесят лет до нашего времени. Увлеченный условиями общества и ошибочною идеею жизни, он *не истощил* всего

173

своего гения; но потому, что *успел сделать*, он является нам гением первостепенным. Характер его, как его поэзия, был сильный, пламенный, пылкий, раздражительный, увлекавшийся, детски добродушный и благородный. Недоверчивый к своему гению, когда увлекала его жизнь, недоверчивый к жизни и верящий в гения своего, когда жизнь обманывала, он оставил следы сей тревоги, сей борьбы гения с жизнью в своих творениях. Все увлекало его; всегда он был восторжен, принимаясь за свою лиру; вещественное, ничтожное исчезало тогда в глазах его. Он жил в идеях, преображаемых веществом; он вдохновлялся Екатериною, как изображением божества на земле. После такого чувства всегда следует уныние, и это уныние видно во всех творениях Державина. Падение величия, того, что восхищало Державина, производило в душе его впечатление еще более сильное. Этому обязаны мы «Водопадом», и здесь видны благородство, независимость его духа, какие выражены в стихах его к Храповицкому. Мы уверены, что его надоумили написать «Памятник герою» и что это напоминание произвело «Водопад» —

пьесу, посвященную умершему баловню счастья, которого спешили все забыть, устремляясь к новым звездам силы и могущества. Еще пример подобный: когда Рымникский скончался, всеми оставленный, Державин с горестью шел за гробом его, не страшась толков, и, возвратясь домой, услышал своего ученого снигиря, напевающего марш. Это растерзало сердце его, и он написал прелестную пьесу свою:

**Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый снигирь!
С кем мы пойдем войной на Геэну,
Кто теперь вождь наш, кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат!**

**Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян все побеждать?**

**Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагал молитвой и богом,
Скиптры давая, зваться рабом,
Доблестный быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?⁵⁰**

Эти стихи не могли привлечь в то время благосклонной улыбки, но что ему было за дело до того: он благоговел перед памятью героя, им прославленного! Так, память Шувалова всегда была священна нашему поэту. Но не одна благодарность — все великое и прекрасное увлекало Державина. Так, например, он почтил стихами память Хвостова и Давыдова⁵¹, юных героев, погибших несчастно*, и, как юный певец, оживлялся всякою славою отечества, до самой своей кончины. Верный дружбе, он не знал зависти и радовался каждому успеху. Прочтите стихи его к Карамзину и Озерову, дышащие искренним радостным участием к юным тогда дарованиям сих литераторов⁵².

Да, Державин может служить новым свидетельством, что душа истинного поэта, затмеваясь иногда тучами страстей, всегда светится лучами солнца, из-за туч видимого; что назначение поэта всегда проявится, как бы ни стесняла его жизнь, как бы ни ошибался он в самом себе, проявится и в малом, и в том, что он успеет сделать; что всегда жизнь поэта представляет нам урок высокий, поучительный не менее его поэзии и что вполне тогда только узнаем мы поэта, когда рассматриваем, *как и когда* он жил. Перед гробницею Державина смело преклонись, пылкий юноша: ты не постыдишь себя, преклоняясь перед ним как пред человеком и поэтом —

* Жаль, что забвению преданы доныне имена сих отличных морских офицеров. Неужели не сыщется ни один товарищ, знавший их и могущий рассказать нам о Хвостове и Давыдове? Они в молодых годах уехали в Российскую Америку; возвратясь, снова были туда отправлены и отважно сделали оттуда нападение на Японию. Не они были виноваты в этом нападении. Но честь подвига их погибла в несправедливом обвинении — подвига славного, заставившего Японию трепетать. Читайте для удостоверения в этом записки Головкина и Рикорда. Обвинение очищено было подвигами их в войне Финляндской, где показали они изумительную храбрость. По возвращении в Петербург, Хвостов и Давыдов утонули вместе в Неве, отважно думая перебежать по Исакиевскому мосту, когда ночью он был разведен и проходил сквозь него корабль. Странная, замечательная судьба!

**Богов певец
Не будет никогда подлец! **⁵³**

Скажи это смело и внимай голосу Державина:

**Необычайным я пареньем
От тленна мира отделиюсь,**

175

**С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь!**

**В двойком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.**

**Да, так! Хоть родом я неславен,
Но, будучи любимец муз,
Другим вельможам я не равен
И самой смертью предпочтусь!**

**Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах,
Но будто некая цевница,
С небес раздамся в голосах!..⁵⁴**

Внимательно рассматривая Державина как поэта и судя его по тому, что он *успел сделать*, мы убеждаемся, что Державин был совершенно самобытен и неподражаем;

** «Соч. Державина», т. 1, стр. 231.

что, не получив почти никаких пособий образования, он получил от природы все средства гения, рассыпал самородные, вековые сокровища в нашей поэзии и нашем языке, и наконец, что по самой беспристрастной, строгой оценке, поставить должно его в число первостепенных, великих поэтов мира — не одной России.

Не разбирая, когда что писано, в последнем издании сочинений Державина находим мы 332 пьесы лирические, 4 сценические пролога, 3 драматические сочинения и описание праздника Потемкина. Присовокупив к этому трагедию, отдельно изданную, мы исчислим все, что известно нам из сочинений Державина.

По самому содержанию пьес выходит, что Державин был *лирический поэт*. Но это название может быть чрезвычайно многообъемлюще.

Лирическая поэзия так же разнообразна, как и другие роды поэзии. После того, когда мы узнали многое не известное древним, самые названия лирических стихотворений сделались недостаточны. Что выражает греческое слово «ода»? «песнь»? Но какое различие между лирическою песнью грека, араба, шотландца, германца! Неужели все это назовем одою? Не справедливее ли будет удерживать названия, принятые у разных народов для означения различных стихотворений? Сказав: «псалом», «мистерия», «лей», «моаллака», «слово» (как оно принято певцом Игоря), «канцона», мы выражаем

положительно сущность стихотворений, называемых сими именами.

Так, для лирических пьес Державина решительно не годится название «оды», если примем сие название в том смысле, какой придавали ему классики. Оды торжественные Пиндара, классических немцев, французов, англичан, русские оды Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Майкова, Николева, Петрова (и кто не писал у нас од и басен?) обозначают положительно сущность и образ собственно оды. Торжественные песнопения Державина, его *торжественные оды*, представляют нам совсем другую сущность, совсем другой образ.

Так же несвойственно (о чем мы уже упоминали выше) название некоторых пьес Державина *анакреонтическими* одами. И этих од сущность и форма известны из тысячи примеров, и как ни примеряем мы их на мнимо анакреонтические оды Державина — они никак не сходятся, будучи разнородными созданиями. «Если бы Анакреон родился на берегах Невы, то употребил бы все краски Державина, а Державин при дворе роскошного Ишпарха говорил бы языком мудреца Феосского», — сказал князь Вяземский⁵⁵. Догадка эта может быть справедлива, но объясняет ли она сущность созданий Державина и показывает ли, что они чем-нибудь *похожи* на Анакреоновы?

Название «философическая ода» кажется нам ошибкою, если не употреблять его единственно для означения холодных рассуждений, какие высказывали в стихах своих классические стихотворцы. Они брали известную тему (например, «добродетель», «суета», «грех», «красота») и риторически разлагали ее в строфы и стихи. Неужели поэт Гораций был *философ* в своих одах? Такой же философ был Державин.

Вот три рода стихотворений лирических: торжественная, анакреонтическая, философическая ода, которые до сих пор находили у Державина и которых мы вовсе не находим⁵⁶.

Не говоря о сочинениях, в какие увлекали Державина примеры современников и предшественников, как-то: предложения псалмов, подражания Горацию и Анакреону) и где едва мелькает гений его, по нашему мнению, можно разделить лирические его пьесы на песнопения торжественные, духовные, сатирические, элегические, эротические и вакхические. Все почти это *не оды*, но иные

177

имеют форму послания, другие элегии, иные песни, некоторые суть небольшие поэмы.

К *духовным* можно отнести пьесы: «Бог» и «Бессмертие души».

К *торжественным* — пьесы: «Взятие Измаила», «Взятие Варшавы», «На Мальтийский орден», «На победы в Италии», «Переход через Альпийские горы».

К *сатирическим* — пьесы: «Счастье», «Умеренность», «Вельможа», «Фонарь».

К *элегическим* — пьесы: «Водопад», «На смерть Мещерского», «Урна», «Память другу», «Снигирь», «Развалины».

К *эротическим* — пьесы: «Геркулес», «Соловей во сне», «Гостю», «Параше», «Русские девушки», «Цыганская пляска», «Нине».

К вакхическим — пьесы: «Разные вина», «Философия», «Заздравный орел», «Хмель», «Мореходец», «Махиабель», «Кружка».

Но все это разделение недостаточно, однако ж, ибо многие пьесы Державина не подойдут ни к одному из сих родов. Таковы: «Поход Озирида», «Персей и Андромеда», «На рождение порфирородного отрока», «Венчание Леля» или «Павлин», «Облако», «Гром», «К самому себе», из коих первые суть торжественные, вторые сатирические, но живописная форма делает их чем-то особенным. Так, ни к одному роду не подходят небольшие поэмы его: «Изображение Фелицы», «Видение мурзы», «Утро», «Целение Саула», «Мой истукан», «Злогор», «Фригга», «Царь-девица» или пьесы: «Радуга», «Ласточка», «Соловей», «Колесница», «Хариты». Не менее разнообразны и смешаны самые формы стихотворений: «На взятие Измаила», «На взятие Варшавы», «Водопад», «Вельможа» суть поэмы лирические, а не оды; «Фелица», «Платову», «Первому соседу» — послания.

Все это заставило нас сказать в самом начале, что сочинения Державина никак нельзя делить на роды и в издании их всего вернее принять порядок *хронологический*. Тогда получили бы мы поэтическую летопись внутренней жизни его и могли видеть, как и что делало впечатление на пламенную душу поэта, вместо того, что, какие бы ни приняли мы деления, всегда будем путаться в них.

Князь Вяземский говорит: «Желательно, чтобы искусная рука, водимая вкусом и беспристрастием, собрала избранные творения Державина. С сею книжкою

могли бы мы смело вызвать на единоборство славнейших лириков всех веков, всех народов, не опасаясь победителя». Не можем согласиться с сею мыслию, ибо, как мы уже сказали, Державин поэт *не на выдержку*. Поэзию его можно уподобить долине цветущей и дикой, с снежными вершинами гор и дремучими лесами окрест ее. Несколько деревьев, несколько цветов, вынесенных из сей долины, не покажут вам ее дикой, высокой прелести.

Итак, нам остается идти в эту очаровательную долину, осмотреть ее величественную общность, ее изумительные подробности и не думать о классификациях там, где природа разбивала красоты не по снурку и уровню. Надобно обозначить сущность поэзии Державина и отличия его от других поэтов — остальное будет понятно из этого.

Восторг самодовольный, жар души, сила и живопись слова — вот отличительные свойства созданий Державина. Неистощимая яркость изображений не допускала его возноситься выше земли. Не ищите в Державине тайн неразгаданных, не ищите стремления к тому, чего человек не понимает, но что он чувствует и сознает в самом себе. Державин изумляет вас полнотою, с какою он весь проникается каждым предметом и воссоздает сей предмет в самом себе и своем творении. Гений Державина носит все отпечатки русского характера: увлекаемость, самодовольство, силу. В душу его не проникают ни испытующая отвлеченность германца, ни отчаянная безнадежность британца. Также недоступна ему веселая беззаботность француза: в самом

веселье это разгульность русская, которая не веселится, но хочет забываться.

Возьмите для примера оду «Бог».

В полноте восторга поэт взывает к богу, исчисляет его свойства — превечный, без места и причины, непостижимый, всенаполняющий — бог! Измерить, исчислить тебя невозможно — ты бесконечный! Все в тебе — жизнь и смерть, и все ничто пред тобою — и что же я? Но я есмь, и я уже нечто — связь неба и земли. Твое создание я, и чрез смерть возвращаюсь в твое бессмертие! Бессильный начертать и тень твою — возвышаюсь к тебе и проливаю слезы благодарности.

Вот скелет, так сказать, тех идей, на которых снована ода «Бог». Облеченная поэтическими формами, усыпанная алмазами и перлами слова, показывающая удивительное самодовольство, совершенное соединение

179

поэта с идеею — она удовлетворяет полнотою, и вы не заметите, как недостаточно, неудовлетворительно ее основание.

Возьмем другой пример — торжественную оду, например «На взятие Измаила».

Огнедышащей горе уподобляется подвиг русских под Измаилом. И где русский не таков? Вождь рек — и Измаил пал! Как волны, потекли русские на его твердыни — под знаменем веры и любви к царице. Ужасное зрелище! Вообрази себе бурю, вообрази последний день мира — се изображение подвига русских! Опустошение всюду — осада Тира ничто пред взятием

Измаила. Уверьтесь, языки! что велика судьба Руси! Следует изображение прежних бедствий Руси, и нынешней ее славы, и будущей судьбы ее. Обращение к царице Руси — щадить силу народа русского. «Цари России! — восклицает поэт, —

**Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою,
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.
Война, как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радуги блистанье,
Всяк мудрый любит тишину...**

Желание мира — утешение потерявшим милых в измаильском подвиге — бессмертие падшим!

Прочтите это творение Державина, посмотрите, как великолепны его картины, как горд, самоуверен в нем поэт, и ничто, никакое преувеличение не покажется вам излишним в этой поэме, состоящей из 400 стихов и по самому объему выходящей из числа од.

Но хотите ли убедиться в означенных нами качествах Державина еще более? Прочтите его бессмертную элегию «Водопад». Эта поэма, заключающая в себе до 450 стихов, докажет вам, что Державин, совершенно увлекаясь предметом, совершенно воссоздавал его в самом себе, выражал со всею силою души высокой и пламенной и радужными образами расцветчал все свои идеи. Тут вся прошедшая жизнь поэта мелькала мимо его, сливались

воспоминания, забывался род творения; голос поэта переходил по всем изгибам сердца его и являлся самобытным и неподражаемым в высочайшей степени.

180

В сей-то самобытности, в этом самодовольстве, пересоздающем в самого себя все, чему ни коснется оно, — величие, очарование Державина. Так творцы арабских моаллак изумляют нас самодовольною полнотою бытия, заключая в палящих степях своих всю вселенную и всю природу их выражая в своем песнопении! Эта вера в гений свой у Державина изумительна. Это вера вождя Израиля, останавливающая солнце: и природа повинуется ему — «и ста солнце против Гаваона, и ста солнца среди небеси, и не идяше на запад — и не бысть день таковой, ниже прежде, ниже последи, еже послушати богу тако гласа человека»⁵⁷.

После сего ничто не кажется вам безмерным и неуместным. Говорит ли поэт русскому царю:

Как бог, в подобье исполина,
Шагни — и света половина
Другая будет под тобой!⁵⁸ —

исчисляет ли он величие и ничтожество человека:

Черта начальна божества,
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю —
Я царь — я раб — я червь — я Бог!⁵⁹ —

уподобляет ли взятие Измаила дню разрушения вселенной:

Представь последний день природы,
Что пролилася звезд река;
На огонь пошли стеною воды,
Бугры взвились за облака;
Что вихри тучи к тучам мчали;
Что мрак лишь молнии освещали,
Что гром потряс всемирну ось,
Что солнце, мглою покровенно,
Ядро казалось раскаленно —
Се вид, как вшел в Измаил росс!⁶⁰ —

говорит ли, что при слухе о смерти Потемкина

Екатерина возрыдала —
*Полсвета потряслось за ней!*⁶¹ —

изображает ли победы Екатерины орлом, сгибающим рога луны в небе и сжимающим львиный зев на земле:

На сребролунно государство
Простри крылатый, сизый гром,
В железнокаменное царство

Брось молнии — и поставь вверх дном;
Орел царевнин бы ногою

**Вверху рога луны сгибал,
Тогда ж бы на земле другою
У гладна льва он зев сжимал⁶², —**

вы всему верите, вы увлечены: поэт отнял волю вашу волшебным жезлом своей фантазии. Присовокупите к этому родные отпечатки русского характера, и вы угадаете тайну преобладания поэта. Да, это не Гете, не Байрон: это потомок Багрима, это наш бард снегов и северных сияний, лесов дремучих и рек исполинских, юность коего лелеяла Волга, могилу коего омывают струи Волхова!

Заметьте особенно повсюдную унылость души, это веселие забывчивости, это разгулье русское, прорывающиеся сквозь восторг и радость, сквозь громы и бури гения: это из русского сердца выхвачено! В торжественной песни, в эротической пьесе Державина найдете вы сии родные сердцу черты. Найдете и добродушие насмешки, и русский *гумор*, и родную шутку в образах. Посмотрите, например, на изображение Европы в 1789 году:

**В те дни, как всюду скороходом
Пред русским ты бежишь народом
И лавры рвешь ему зимой,
Стамбулу бороду ерошишь,
На Тавре едешь чехардой,
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол Варшаве раздуваешь,**

Коптишь голландцам колбасы⁶³.

Прочтите карикатуры в «Фелице», прочтите «Истукан», «На умеренность», наконец, описания русской пляски, русских девушек, цыганской пляски, «Заздравного орла», «Кружку» — русское ваше сердце зашевелится, если оно не лишено вовсе способности шевелиться. Только Крылов умел так по-русски шутить, только Пушкин так по-русски писать.

Этот *русизм*, эта национальность Державина до сих пор были упускаемы из вида. Говоря о лирике Державина, все забывали в нем *русского певца*. Сочинения Державина исполнены русского духа, которого *видом не видать, слыхом не слышать* у других *мнимо* русских поэтов наших. Прочтите для удостоверения пьесы его: «Царь-девица», «Новгородский волхв Злогор». Но всего замечательнее в сем отношении его «Добрыня», сочинение заброшенное

182

и забытое: это странная опера, но подробности в ней превосходны, а лирические места изумляют русским духом. Один хор русских дев, в начале IV действия, может выкупить всю пьесу. Вот он:

Что по гридне князь,
Что по светлой князь,
Наше солнышко, Владимир-князь похаживает;
Что соколий глаз,
Молодецкий глаз,
Как на пташечек, младых девиц посматривает;

Что у ласточки,
У касаточки,
Алу, белу грудь, сизы крылья подсматривает;
Парчевой кафтан,
Сапоги сафьян,
Золоту казну и соболи показывает;
Веселым лицом,
В обиняк словцом,
Мысли девичьи и душу их изведывает.
«Не мани нас, князь,
Не гадай нас, князь,
Красно солнышко! — боярышни возговорят, —
Не златой казне,
Но твоей красе
Очи и сердца свои давно все продали.
Ты взгляни на нас,
Ты вздохни хоть раз,
Дай в залог перстень любой тебе, ту выбери!»

Если бы Державин был более знаком с русскою стариною, если бы он не увлекался ложным об ней понятием, по которому Карамзин полагал необходимым *скрашивать* родное наше *даже в самой истории* — может быть, ему суждено б было начать период истинно *национальной поэзии* нашей. Теперь — этот долг за Пушкиным. При Державине не наставало еще время русской литературной самобытности.

Как поэт–живописец Державин станет наряду с величайшими поэтами мира. Он весь в картинах: это русский снег, горящий лучами солнца. Из приведенных нами примеров можно уже видеть сие чудное свойство, свойство особенное жителей севера. Вальтер Скотт

поэзии — гремит ли он негодованием против порока — это картина утра в доме вельможи; оплакивает ли смерть Потемкина — вся природа, все думы его облакаются в образы, и все собрано им — и Кончезерский водопад, и две копейки, которые кладут у русских на глаза покойника; говорит ли о суете мира — это сама смерть: она смотрит на величие мира, и — «точит лезвее косы!». Тщетно захотели бы мы

183

исчислить все картины, все образы, начертанные Державиным, — они бесчисленны. Пьесы самые ничтожные исполнены ими. Смотрите полные картины его в «Водопаде», «Утре», «Изображении Фелицы», «Вельможе», «Видении Мурзы» — и на всю жизнь это свойство оставалось в поэзии Державина. Он пережил восторг свой, пережил величие дум, но до самой кончины был поэт-живописец неподражаемый. Прочтите его «На смерть Мещерского», «Изображение Фелицы», прочтите потом писанное им чрез двенадцать лет: «Жизнь Званская», «Поход Озирида» — Державин не состарелся. Прелесть очерков, в пьесах: «Облако», «Гром», «Ключ», «Ласточка», «Соловей», «Павлин», «Колесница», «Радуга», «Флот», «Персей и Андромеда» — истинное очарование! Приведем здесь пример из пьесы, менее других известной:

Из опалового неба,
Со Олимпа высоты,
Вижу: идет юна Геба —

Лучезарны красоты!
Из сосуда льет златого
В чашу злату снедь орлу.

Зоблет молний царь пернатых,
Пук держа в когтях громов;
Ветр с рамен его крылатых
Вкруг шумит меж облаков;
Чернопламенные очи
Мещет Геба на него...⁶⁴

И это писал Державин, когда ему было *около 70 лет*. И его «Развалины», эта песнь лебедея на опустелом дворце Фелицы? Его Борей, «с белыми власами и седою бородой»? Он потрясает небесами, сжимает рукой облака, сыплет пушистые инеи, воздымает метели, налагает льдистые цепи, оковывает быстрые воды, и — природа содрогается «от лихого старика», земля претворяется в камень от хладной руки его, звери бегут в норы, рыбы кроются в глубине, хоры птичек не смеют петь, пчелы прячутся в дуплы, русалки засыпают со скуки в пещерах и камышах, лешие собираются согреть руки около огней. И среди этой смерти природы — порфирородное дитя, детскими ручками приемлющее уже порфиру; и растворенный чертог небес, и гении, летящие с дарами — с громами побед, обилием, богатством, спокойствием, миром, красотой душевною и телесною, и гений *последний*, говорящий новорожденному:

Будь страстей своих владетель,

Будь на троне человек!⁶⁵

И Россия, коленопреклоненная перед колыбелью, приемлющая отрока на руки и со слезами лобызаящая его в перси, очи и уста, — вот он, вот наш Державин, гений снегов и льдистой нашей родины, не знавший сам себе цены! Не с выбором его од должны мы вызывать его соперников иноземных, не с классическою меркою подходить к его творениям — нет! Мы должны обозревать его вполне, изучать во всей его дикости, разнообразии; с высоты его гения смотреть должно на других поэтов, чтобы понять все его величие и безмерное расстояние, в каком стоят от него предшественники, современники и наследники его в поэзии. Он разнообразен, как природа, — зачем смотрите вы только на несколько его творений? Говорит ли он смуглой дочери Египта:

**Как ночь — с ланит сверкай зарями,
Как вихорь — прах плащом сметай,
Как птица — подлетай крылами
И в длани с визгом ударяй!
Жги души, огонь бросай в сердца
От смуглого лица!⁶⁶**

В беседе ли друзей, за круговою чашею, за черно-тинтовым, злато-кипрским вином подымает бокал свой и восклицает:

**Вот красно-розово вино:
За здоровье выпьем жен румяных;
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст багряных!⁶⁷**

Приглашает ли гостя своего:

**Сядь, милый гость, здесь на пуховом
Диване мягком отдохни,
В сем тонком пологу перловом
И в зеркалах вокруг усни...**

**Уверяя его, что рад будет прелестным снам своего
гостя и даже любовным сплетням его —**

**Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни клад!⁶⁸**

**Идет ли по Альпам и указывает на Суворова перстом
Рюрика —**

185

**Се мой, — гласит он, — воевода,
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа,
Девятый вал в морских валах,
Звезда, прешедша мира тропы,
Которой след огня черты...⁶⁹**

**Видит ли его в подземном бою с врагами и в трепете
воскликает:**

**...Сошлись к бою,
Чело с челом, глаза горят;
Не громы ль с громами дерутся?**

**Мечами о мечи секутся,
Вкруг сыплют огонь... хохочет ад!**⁷⁰

Описывает ли пир вельможи Екатеринина, где

**Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по ним и золото, и серебро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украина, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, нагнувшись, в топазны, аметистны
Лил кубки мед золотой, древ искрометный сок!**⁷¹

Одушевляется ли он уверенностью в бессмертии души, видит в себе отблеск бога, сознает вечный дух, мудрый, сильный, сущий, и говорит в восторге:

**Сей дух в пророках предвещает,
Парит в поэтах в высоту,
В витиях сонмы убеждает,
С народов гонит слепоту;
Сей дух и в узах не боится
Тиранам правду говорить:
Чего бессмертному страшиться?
Он будет и за гробом жить!**⁷²

Он всюду могущ, богат, звучен, самобытен, велик и в самом падении, поучителен в самых ошибках, необходим историку, изучающему Россию XVIII века, поэту,

сореvнуvщему славе его, юноше, который тревожится вдохновением, ужасается прозы нашей жизни и пустоты нашей поэзии, старцу, который живет воспоминаниями...

Не имели ль мы после сего права изумляться противоположности жизни Державина с его поэзией и думать, что он не может быть ни изъяснен, ни понят, если мы не

186

знаем предварительно его характера как человека и поэта и не знаем века его? Рассматривая жизнь, характер, век Державина, мы разрешили себе все сии загадки в противоположности поэзии и жизни, в соединении мира небесного и мира земного в поэте, в тяготении человека к земле в порыве души его к небу. И неужели вы думаете, что Державин понимал сам себя, понимал, как он творит? Нимало! Заглянем в душу его, прочтем его *литературные признания*, как мы прочли его записки для пояснения его жизни.

Державин оставил нам большое «Рассуждение о лирической поэзии» (см. «Чтение в Беседе любителей русского слова», кн. 2, 6, 14). Не думаете ли вы найти здесь тайны поэзии его? Совсем нет: это бедная компиляция, выбранная из жалких эстетик, рассуждение о внешних, риторических приправах песнопений! Да, вы за кулисами, видите подмости, веревки, лестницы и дивитесь тому, как могла составиться сими грубыми средствами великолепная сцена, ослепляющая вас.

После краткого вступления и краткой истории оды Державин исчисляет 24 качества, или достоинства, од. Вот они:

«Вдохновение, смелый приступ, высота, беспорядок, единство, разнообразие, краткость, правдоподобие, новизна чувств и выражений, олицетворение и оживление, блестящие картины, отступления, или уклонения, переноски, обороты, околичности, сомнения и вопрошения, противоположности, заимствования, иносказания, сравнения и уподобления, усилия и прочие витийственные украшения, нравоучение, сладкогласие, вкус».

Какая смесь понятий! Прибавьте, что Державин приводит притом самые нелепые стихи Хераскова, Боброва, восхищается ими и с грустью говорит: «Знаю, сколь трудно соединить плавность Хераскова с силою стихов Петрова...»

Нам известна еще драгоценность: это планы некоторых пьес Державина. Г–н Остолопов передал нам такие планы шести пьес (см. «Ключ к соч. Держ.»), стр. 34, 44, 48, 54, 76, 80): «Изображение Фелицы», «Счастье», «На Умеренность», «Водопад», «На Мальтийский орден», «Афинейскому витязю». — Какая проза! Какой поучительный урок ничтожества человеческого в величии!

Но и в самом ничтожестве есть точки, с которых начинается величие человека. «От великого до смешного один один шаг», — сказал Наполеон. «Что вы смотрите на трон

мой? — говорил он еще. — Если на нем нет меня — это скамейка, обитая бархатом!» Так в человеке смешаны жизнь и смерть, небо и земля, ничтожество и бессмертие.

Самая жизнь Державина доказывает, что он не получил никакого образования и пренебрегал своим гением. Сын природы, ей одной он был всем обязан, как ей всем были обязаны подлекарь Шиллер, сын торговца шерстью Шекспир, солдат Сервантес. Мы верим рассказам, что Державин худо знал стопосложение, почитал дактилем все, что не хорей и не ямб, и гармонию самых стихов своих изучал, читая их вслух самому себе и стуча в это время пальцем по столу; наконец, на самом снимке, приложенном к новому изданию его сочинений, находим мы ошибки против правописания; говорят, что притом Державин дурно читал стихи свои, не умел говорить красно и был неловок. Тем величественнее этот огонь во льдах, тем драгоценнее доказательство, что гений выше всех вещественных цепей. Из глупой сказки он создает «Гамлета» и «Лири» и велит надписать на гробнице: «Друг! именем Бога молю — не трогай праха, здесь заключенного!»*

Так и в прозаической стороне Державина, на этом обороте медали, хотите ли видеть клеймо его гения? Забудьте его удивление к Хераскову и уверенность, что к достоинствам оды принадлежат: заимословие, сравнение, нравоучение, — послушайте, когда говорят его *душа*, его *гений*:

«Лирическая поэзия показывается от самых пелен мира. Она есть самая древняя у всех народов: это отлив разгоряченного духа, отголосок растроганных чувств,

* Надпись на гробнице Шекспира.

упоеание, изливание восторженного сердца. Человек, из праха возникший, восхищенный чудесами мироздания, первый глас радости своей, удивления и благодарности должен был произнести лирическим восклицанием. Все его окружающее: солнце, звезды, моря, горы, леса и реки, напояли живым чувством и исторгали гласы его. Вот источник оды. Она не есть одно подражание природе, но вдохновение оной. Она не наука — огонь, жарь, чувство...

Высокость оды есть полет воображения, который возносит поэта выше понятия обыкновенных людей и заставляет его, сильными выражениями своими, то живо чувствовать, чего они не знали и что им прежде в мысль не приходило. Прямая высокая состоит в силе духа или истине, обитающей в Боге...

188

Принадлежности оды составляют изящество и существо прямой оды, ежели истекают только от истинного вдохновения. Без вышнего сего дара, не красотами они бывают, а раскрашенными, неживленными призраками. Всякий набор пустых, гремучих слов, скропанный по школьным одним правилам, или нанизанность надутых, неодушевленных подобий, — всякий, говорю, длинный рассказ, холодное поучение, газетные подробности, неточная оболочка речениями мыслей, принужденное, бесстрастное восклицание, нагроможденная высокая, или тяжело-ползущее парение, никому не понятное глубокомыслие, или, лучше сказать, бессмыслица, и слух раздирающая

музыка стыдят и унижают лиру. Звуки ее тогда, как стрелы тупые, от стен отскакивают и, как стук в свинцовый тимпан, до сердца не доходят. Поистине: *вдохновение* есть один источник всех вышеписанных лирических принадлежностей, душа всех ее красот и достоинств; все, все, и самое сладкогласие от него происходит — даже вкус хотя дает ему дружеские свои советы и он из него принимает их, но не прежде, как тогда уже, когда успокоится, а во время пылкого его парения едва только издали смеет приближаться к нему и надзирать за ним. Если поэт за первым, без всякого рассуждения, быстро последует, а за вторым, не торопясь, с благоразумием, и за справою уже сего последнего, а не прежде, выдает в свет свои сочинения, то, без всякого сомнения, рано или поздно получает плески. Чувствуй — и будут чувствовать. Проливай слезы — и будут плакать! От восклицания токмо сердца раздаются громы. *Вдохновение, вдохновение* — повторяю, а не что иное наполняет душу лирика огнем небесным: оно напрягает все его силы, окрыляет, возносит и исторгает, так сказать, ее бытие из пелен плоти или из всех земных пределов — дабы лучше выразить и изъяснить иступленное ее положение. От вдохновения происходят бурные порывы, пламенные восторги, высокие, божественные мысли, выпренные парения, многосодержащие изречения, таинственные предвещения, живые лицеподобия, отважные переносы и прочие риторические украшения, о коих было много говорено. От него под струнами венценосного иудейского лирика и царя скакали холмы, двигалась земля, преклонялось небо пред лицом вседержителя, солнце становилось престолом, а луна подножием его; от него Орфей водил леса и реки за собою,

Омир помаванием Юпитеровой главы колебал
вселенную...»⁷³

189

Вот он, вот молния среди мрака, поэт, которому
готовы мы воскликнуть, как восклицал в ответ ему
знаменитый его современник:

...Тебя ль не узнаю —
Орлий издавна знаком мне полет!*

Посмотрите и в самых планах Державина, в этой
прозаической подмостке, устроенной для созидания
великолепных, вековых его зданий, посмотрите на
добродушие, младенческое добросердечие, простоту гения.
Выписываем здесь план стихов Державина «Счастье»,
этого прелестного, неподражаемого, русского создания.

«Писано это в Москве, в 1789 году. В первом издании
прибавлено было «на масленице», потому что, описывая
разные проказы того времени, автор хотел скрыть прямое
свое намерение. Он, по притеснению некоторых вельмож,
был тогда отлучен от Тамбовского губернаторства и
находился под ответом в Московском Сенате. Автор, в
свое утешение и для забавы, хотел посмеяться
ироническим слогом над всем тем, что делается в сем
развратном и непостоянном свете. Для лучшего
вразумления читателей нужным почитается пояснить
каждую строфу.

В 1-й и 2-й описываются деяния счастья.

* И. И. Дмитриев, в ответ на стихи Державина «Осень».

В 3–й обороты оного, известные по истории, которые и в настоящее время точь–в–точь случались.

В 4–й просвещение России, когда уже грубое суеверие о домовых и кикиморах исчезло, а на место оного появились магнетизм, искание философского камня и проч. Тут же сказано и о том, что в тогдашнее время много показалось *кавалеров* и *бригадиров*, выпускаемых из капитанов гвардии в отставку.

В 5–й и 6–й успехи российского оружия и политики; также самая верная картина тогдашнего дипломатического состояния европейских держав, относительно к вниманию, обращаемому на них императрицею.

В 7–й и 8–й изображение внутреннего положения России, ее нравов, правосудия в ней и разных увеселений. Показано, что *ерихонцы*, то есть подьячие, богатеют, что нравы, по смешению нашему с иностранцами, распестрились; полосатые же фраки были тогда в моде.

В 9–й и 10–й описание упражнений Екатерины. В 11–й и 12–й отношение императрицы к военным и гражданским

190

делам: что она без суда никого не наказывает, что весит силы чужих держав, что защищает бессильных от сильных что поражает оружием железное царство шведов и лунное турков, а свое успокоивает, учреждая дровяные и сенные магазины, и согревает в морозы нарочно устроенными на публичных местах каминами.

В 13–й делает автор обращение на себя и просит счастье, чтобы оно было к нему благоприятно и из песчинки сделало бы его жемчужиною.

В 14–й, под своим лицом, автор описывает некоторых сотоварищей по службе, которые бегали у вельмож по паркету и никого не уважали.

В 15–й и 16–й автор вспоминает аллегорией молодость свою и счастливые успехи в любви.

В 18–й и 19–й изображается своенравие счастья и уверенность автора, что оно всеильно все переменять: *гудок в скрынку и хохол в локон*; что редко благоприятствует достойным людям, а подобно воздушному Монгольфьером изобретенному шару упадет куда случится.

В последней, 22–й строфе объясняется состояние души автора, полагающего, что его спокойствие не зависит от непостоянного счастья, ни от вельмож, любимцев оногo^{*}.

Мы увлеклись за пределы журнальной рецензии, говоря о Державине. Но чувствуем, пересматривая все нами написанное, что мы не могли выразить всего Державина. Будем довольны и тем, если наш опыт возбудит внимание людей, более нас опытных, более нашего одаренных вкусом и способностью критики, более нашего обладающих познаниями, необходимыми для оценки гения. Довольны будем мы и тем, если, изобразив жизнь и характер Державина, обзрев создания его, мы убедим некоторых из соотечественников наших, что судимый по уложению русского гения, не по старой классической и не по романтической современной мерке,

^{*} См. «Ключ к соч. Держ.», стр. 44—47. Мы пользовались, по возможности, сею любопытною книжкою г-на Остолопова, но за всем тем посоветуем прочитать ее особенно: это *исповедь* Державина, и множества подробностей, в ней заключающихся, мы не могли вместить в пределы нашей статьи. Для примера укажем на стр. 19, 53, 63, 79, 91, весьма замечательные.

Державин становится вековым поэтом. Не певец Фелицы, не сочинитель только оды «Бог» является нам в Державине, но истинный представитель гения России, дикого, неконченного, неразвитого,

191

но — могучего, как земля русская, крепкого, как душа русская, богатого, как язык русский!

Державина должно отделить от всех его современников и последователей. При измерении окрестных полей Этна и Везувий не входят в межеванье землемерское. Поэтому и потому еще, что он был лирик, Державин не мог сделать эпохи ни в словесности, ни в языке русском. Гений его, уединенный выродок из веков, не мог быть подлажен под голоса других: он пел дивную песнь — ему внимали, не понимая сей песни. Мы прислушиваемся к общему, старому и новому, пению и забываем божественные звуки певца одинокого. С грамматическими весками подходим мы к сокровищнице песнопений Державина и не знаем, как приняться за них, потому что вески наши мелки и недостаточны. Здесь, как при бесчисленных сокровищах певцов Индии, Аравии, Шотландии, должна быть другая мера — *душа мера*, по русской поговорке. Спросите же душу вашу — не школьную теорию эстетики, — спросите дух человечества, и сей могущий дух, не знавший Баттё, Бутервеков, Сульцеров, Астов при создании творений Пиндара и Омира, Данте и Шекспира, Гете и Байрона, Калидаза и Тарафы, скажет вам имя *Державина* не как русского певца XVIII века, но как родного сына своего,

обреченного не истории русской литературы, но бессмертию.

Простое чувство бывает всегда лучшим судьей, если постоянно и одинаково судит о великом, когда пролетела цена его новости. Между тем как литературные судьи наши делят историю русской литературы на периоды и эти периоды лопаются в глазах их, будто мыльные пузыри; определяют степени славы и кумиры, поставленные ими на сих степенях, размывает и безобразит едкое время; считают образцом то прозу того, то стихи другого и эти образцы беспрестанно стареют, — исполинский образ Державина стоит уединенно, воздвигнутый приговором Руси, среди дремучей, дикой дебри его поэзии. Теоретики и критики подходят к нему, но, испуганные его самобытностью, бегут прочь*.

192

Дым курений перед ним погас; тропа, к нему ведущая, заросла былием подражаний чужеземцам и мелкою травую, засеянную по теории чуждых эстетик. Юноша!

* Угодно ли послушать критического суждения в этом особенном роде? Вот оно: «Всеобъемлющий Ломоносов, отважный Петров и неподражаемый Державин обогатили словесность нашу высокими, может быть, единственными произведениями, но не победили своенравного языка». Петров, Ломоносов (как поэт) рядом с Державиным!! И как же *неподражаемый*, обогативший нас *единственными произведениями* мог быть *побежден нашим языком*? «Все удивлялись поэтам, а стихи их читали немногие. Светская и затейливая муза Дмитриева наконец получила доступ во все кабинеты. С нею начали беседовать и записные литераторы, и бесприсяжные щеголи, и полуфранцуженки женщины. До времен Жуковского и Батюшкова язык упрявился, мера и рифма часто смеялись над стихотворцем и побеждали его». Итак — вот мера, в которую пригоняется гений: *чтение светских людей, светскость, затейливость музы, доступ в кабинеты бесприсяжных щеголей, полуфранцуженок женщин, гладкость рифмы!!* Слушайте после сего характеристику поэзии Жуковского, написанную тем же критиком: «*Глубокие чувства, смелая мечтательность, богатство или, лучше сказать, роскошь самых свежих картин природы* составляют красоты поэзии Жуковского. Всего *чаще* любит он предаваться всей стремительности отважного своего воображения, которое, в прихотливом своем полете, избирает путь нередко странный; однако ж самое своенравие его нас пленяет, потому что никогда у него сила воображения не изменяет деятельности. В рисовке картин природы Жуковский *не имеет и едва ли будет иметь соперника*». Опровергать все это нет надобности: это было писано за 10 лет, в 1822 году. В эти десять лет, вероятно, подросли в суждениях своих и публика, сам почтенный критик. Но, однако ж, *так* думали, говорили, даже *печатали* некогда! Читая суждения критика, не скажет ли всякий, что он, по-видимому, вовсе не читал ни Жуковского, ни Державина? Таким критикам можно ли было оценить Державина?⁷⁴

если ты, в часы восхождения солнца восторга над головою твоею, слышишь чудные, дивные звуки, несущиеся к тебе из дебри, — знай, что ты слышишь голос исполинского образа Державина: он, как Мемнон восходящему солнцу, отзывается твоему вдохновению. Туда, к его истукану, в дикую дебрь его поэзии иди и у подножия его образа внимай его звукам, вдохновляйся ими и ведай, что некогда потомство воздвигнет храм сему сыну Севера, сему знамени русского гения. Там читай историю Державина, предугадывай, чем он мог быть, по тому, что он был, и, забыв все его частные отношения, и века, и человека, умей сравниться с его духом, умей лучше Державина разгадать самого себя. Тогда сердце твое затрепещет при мысли, что, может быть, и твой образ потомство поставит рядом с образом бессмертного потомка Багримова...

Державину воздвигают памятник в месте его родины. Если бы художник осмелился при сем случае бросить все академические идеи, все затверженные им в школе этюды и эскизы... Державин, сидящий, как изображен он Тончием, в северной одежде, без всяких знаков мирских, прешедших почестей, и лира у ног, вдохновение на лице, без греческих гениев, без изысканной драпировки, внимающий невидимому гению, как будто повторяющий нам:

193

В могиле буду я, но буду говорить!⁷⁵

Вот какого памятника желали бы мы Державину, вот в каком памятнике мы узнали бы его!

194